

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

ВЫПУСК ШЕСТОЙ

MCMXCVII

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ
литературный альманах



Kamera khraneniya. Vypusk šestoj

Literary almanach.

Copyright © Authors, 1997.

Copyright © Compound Association "Kamera khraneniya", 1997.

Dmitrij Zax, Breslauer Str. 22, D-60598 Frankfurt am Main, BRD.

e-mail: D.Zax@t-online.de

Россия, 197343, Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка 33-55, Д.М.Закс.

Copyright © Title and Idea of cover design. Oleg Yuryev, 1989.

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, in any form or by any means, without permission.

St. Petersburg — Frankfurt am Main
MCMXCVII

Камера хранения. Выпуск шестой.

Литературный альманах.

Состав © Ассоциация "Камера хранения", 1997.

Dmitrij Zax, Breslauer Str. 22, D-60598 Frankfurt am Main, BRD.

e-mail: D.Zax@t-online.de

Россия, 197343, Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка 33-55, Д.М.Закс.

© Название и идея оформления. Олег Юрьев, 1989.

Авторские права © на сочинения, помещенные в альманахе, сохраняются за авторами этих сочинений. Перепечатка какого-либо текста или воспроизведение его любыми другими средствами — только с разрешения автора.

Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне
MCMXCVII

Редактор выпуска: Д.М. Закс

Exclusive distribution outside the territory of the former USSR

by Kubon & Sagner Buch Export-Import GmbH

80328 München, BRD

Telefax ++49/89 542 18 218

Исключительное право на распространение издания за пределами бывшего СССР принадлежит

Kubon & Sagner Buch Export-Import GmbH

80328 München, BRD

Telefax ++49/89 542 18 218

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

Выпуск шестой

Санкт-Петербург
1997

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХИ

Ольги Мартыновой	9
Льва Дановского	18
Олега Рогова	22
Олега Юрьева	27
Сергея Вольфа из цикла «Мотивы Терву»	33
Валерия Шубинского	38
Светланы Кековой	41

ПРОЗА

<i>Иголка любви, Сом-с-усом,</i> два рассказа Нины Сагур	47
<i>Жаба, У нас на телевизоре, История,</i> три рассказа Сергея Вольфа	58

ПЕРЕВОДЫ

Олега Юрьева и Ольги Мартыновой при участии С. Гладких из Эльке Эрб	69
--	----

XXX ЛЕТ

<i>Из записных книжек</i> Венедикта Ерофеева	77
---	----

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

Стихотворение А. Ривина <i>Вот придет война большая</i>	95
---	----

ОЧЕРКИ ЗАТОНУВШЕГО МИРА

<i>Долог путь до Типперэри,</i> проза Георгия Владимова	99
<i>И пр.,</i> проза Вячеслава Белкова	112
<i>первос второе и третье,</i> проза Дмитрия Закса	121

Содержание альманаха «Камера Хранения», II - VI	132
---	-----

*Ольга Мартынова
Лев Дановский
Олег Рогов
Олег Юрьев
Сергей Вольф
Валерий Шубинский
Светлана Кекова*

СТИХИ

Ольга Мартынова

ОПЕРА

Бедный, бедный Тристан. На дремотных волнах
раскачалась страсть, как буря.
Звонкое это питье электрическим бегом в зубах
осталось и внутрь проникло, костную мякоть буря.
Столько прелестного в мире: Львы и Драконы в лесах,
Волшебный напиток познания, Напиток бессмертья, Девы-цветы,
Англия в топких снегах, Волшебники в колпачках
и плащах. Что толку видеть всегда дорогие черты
Во всем, что тленно.
Тлеет в камине тепло. Англию всю замело.
Плохо рыцарем быть, если на сердце скверно,
Не заснешь, не снимая доспехов — задавят,
Не рухнешь в беспмятстве пьяном — всех разбудишь.
Не вытрешь слезу под забралом.
Вагнер покрыл равномерно
Твои дорогие черты. Темным лаком, Изольда,
Хрупкая дева, с чуть вытянутым носом,
С тьмою длинных ресниц, узких глаз,
С сединой, что прошла по косам,
В час,
Когда судьба отказалась
играть с тобой вместе...
Море на севере, как беспокойная дева,
Хранит в своей глубине страшных чудовищ,
Чьи щупальца обвивают арфиста, не слыша напева.

БАСНЯ

Прогрызши яблоко, — до середины,
До горьких семечек, до жестких перепонок —
Червь оглянулся, без воды затоплен
Пахучей мякотью. И звбнок
Был воздух и горек.
Он выбрался наружу
В игольчатую стужу
Осенней мороси и гнили.
В небе звезды не мигая стыли.

«О яблоко, тебя я помню
«Еще цветком розоперстым...
«И завязь нежную твою...
«Мне все равно: я Чсрвь, я Раб,
«Я Бог в соку твоём округлом.
«Я не боюсь колючих трав.
«Быть может, я вообще бессмертен...
«Я гусеница, может быть!
«Но ты — так сморщилось, раскисло.
«Перегорел твой сладкий сок,
«И в звездном небе ты повисло,
«Как пошлой осени кусок.»

ПО ТУ СТОРОНУ МОСТА

Если даже сознание и бродит по ту сторону моста,
Угодив незаметно на третью грань листьев,
В сады солнечных бликов, лунных лужиц,
В сады Гекаты или, наоборот, Персефоны,
Куда (бедный Тиресий!) приходят живые со своей назойливой кровью,
Если даже сознание, и там не найдя себе места,

И возвращается (мало ли дверок между мирами?),
Если оно, уцепившись за хвост змеи, за пальцы совы,
и возвращается, скрипнув невидимой дверью,
Оно лишь пугает подобьем ночного кошмара,
Застывая на вѣках неразличимой полоской.

Если даже уйти из дома, оставив книги
(Или, жалея, отдать их в хорошие руки?),
Закрывать глаза, открыть, ничего не зная,
Все равно ничего не скажет змея, засыпая на груди кожиц.
И, конечно, сова на рассвете, выпадая из яви,
Ничего не скажет, клюв отирая от крови
О кожу груди.

Ее низкий полет между стволами пугает:
Развернув свои крылья, выслеживая змею,
Она теряет совиность свою.

Сидеть бы ей на плече Минервы,
Или в дупле, старчески щурясь на солнце,
Или в зоологической клетке на ветке,
Всегда без движенья.

Летя, она смотрит не удивленно,
Не надменно, а испуганно и жестоко.
Это ли разум, пусть угасающий постепенно,
Чтобы стать холодной золою лунной,
Разбросанной по вселенной?)

(А что можно сказать о змее,
О твари, обреченной ползать на брюхе?
Уползающая — неуловимость мысли?
Вечно скользящая — мост от сознания к природе?
Вряд ли можно гулять по нему туда и обратно,
Если даже природа узор, а не случайные пятна.)

Мне снился сад, наполненный чужими
цветами. Сад, наполненный чужими
плодами, пчелами, ежами
и змеями. Наполненный чужими.
И, как это бывает наяву,
Мне было не спросить, зачем я в нем живу.

АЛЛЕГОРИЯ

Путник, все, что ты видишь, едва ли стоит того.

Едва ли стоит усилия твоего и вниманья.
Бесцветные мотыльки незаметно обращаются в дождь, потом в снег,
Потом в медленный пепел, который кружит на дне.
Всегда?

Сон разума порождает еще один сон.

Стоит ли расчислять, сколько еще чудиц
Ходит вокруг колодца, что обнесен
Шипящей изгородью и вырыт не в недра, а в недра неба.
Вода
Заполняет дырявые ведра,
данаиды уходят во тьму — мокро сияют их бедра.

Спи, разум. Тебе не угнаться за нежным их жалящим роем.

Спи, разум. Красавицы достаются героям.

Путник, уже очевидно, что, войдя в вожделенный сад,
Все разом забудешь, не станешь глядеть назад,
Стоя под дугами гудящих, вечно-цветущих веток,
Одетых в дешевое кружево хмеля.
И когда развернут перед тобой этот постылый свиток,

Белый, из ломкой, как первый лед, бумаги,
Ты напишешь «виновен», не сверяя счетов,
И встанешь, ожидая возмездья, в луче
Сухой, желтой, пахнувшей медом пыли,

Но поскольку тебя не задержит никто (ничто),
Пойдешь дальше, не зная дороги,
С ноющей болью в плече,
Так и будешь идти, пока не заснешь,
А проснешься в вечно-цветущем саду —
Лепестки будут тихо, как пепел, падать вокруг.
И ты снова заснешь, а проснувшись, напишешь «виновен»
В конце тяжелой, пахнувшей жиром и пеплом книги.
Облачко пара поднимется от бумаги
Бесцветной бабочкой, и — за ограду.
Пойдешь и ты по следу, подобный зверю или какому-то гаду,
И придешь, наконец, к благоуханному, никогда не плодоносящему
саду.

* * *

Линия неба, вид одинокой горы или горной гряды,
Отдельно стоящее дерево,
Лес, в середине года и дня скрытый солнечным дымом.
Вечер, оттенивший собою дневные труды,
В утреннем небе кустарник дыбом,
Или дождь. Сколько надо усталости, чтобы любить эту
На склоне дней, дня, праздность, не пугающую тщетой,
Полет сарыча над вспаханным полем, запах коровы,
Чужого пота, виноградника, какую-нибудь примету.
Как мало или наоборот как много надо видеть за той чертой,
Которая приближается на склоне дней, дня,
Когда ангелы из среды огня
Глядят. Их лица праздны, суровы.

* * *

Время — клубок, из которого тонкие пальцы
райских работниц ткали вечные сумерки рая.
Так мало пряжи у них уходило, такой легкой была работа:
густое золото небесного края,
его отражение в прудах,
шмели, сваленные из той же нити
(ее хватало еще для меда,
для яблок, для круглых глазок змеи, —
Так просто было выткать в этих садах
Живущую неподвижность, что пальцы теряли сноровку,
И однажды клубок, ускользая из рук, покатился,
Покатился.
Так перепутались нитки,
Как будто бы ткач
Израсходовал в ночь
Весь райский запас
И в нас
Этот клубок превратился).

ЕВРОПЕЙСКОЕ УТРО

Шоколадные женщины (длинные груди, крепкие ноги,
глаза животных, презрительно выпуклы губы),
Ядовитая зелень, солнце, плоды.
Краски — просты, мазки грубы,
Помнишь эти сады?
Это — давно, Гоген и Магоген.
За пальмами страшные спрятаны боги.
Европа устала. На цыпочках, на берегу океана
Ждет быка.
В порту, рядом с рыбачкой и проституткой,
Обиженно смотрит на волны: *Бык! шуткой*

все было. Домой, обратно,
где жизнь была — и была легка,
и кожа нежна, как сметана,
домой... здесь останутся камни,
А дома, в раю
Домашние боги будут есть с серебристых бумажек
Шоколадную кровь твою.

Или бык не приплыл, или ты не хотела обратно,
Уж и камни остыли, и солнце село за край
твоей стираной юбки, и пятна Уже не смущают.
Закрой глаза, умирай, — Шепчут старые боги.

ЭКЛОГА

Деревья закрыли глаза.
И ветер скользит безучастно по сморщенным векам.
В морщинах скребутся жуки.
Птицы: кто криком, кто свистом, кто стуком, кто смехом
Дают понять, что они тоже где-то.
Но всем им (и еще много кому)
Не о чем говорить. Роща раздета,
В ее наготе ни бесстыдства нет, ни кокетства...
Река обегает холмы, как плохая хозяйка свои кладовые.
Пан, кутаясь в плащ, уронил свою дудку,
И ветер не хочет свистеть песни свои даровые.
Пан — старый, он машинально перебирает бородку,
В которой скребутся жуки.
Его красные глазки слезятся, он их закрывает.
Ни похоть, ни ярость его не тревожат, ни ярость, ни похоть.
Холодная речка ноги его омывает.
Он бормочет какую-то то ли мольбу, то ли обиду.
Уплывает счастливая роща, постепенно теряет его из виду.

ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ НОЧИ

1.

Мир накрыт веселой тенью,
Размалеванной некстати:
Душно, хлопотно, бездушно
Краски жирные текут,
Чтобы не было так страшно,
Чтобы не было так скушно,
Чтоб не видеть, как у смерти
Слюнки тонкие текут.

2.

Облако, смоченное луной,
Лежит на небе дырявой тряпкой.
Ночь на своем языке говорит со мной
О пустяках мирозданья, больше занятая уборкой.
У нее много забот: расставить все на свои места,
что день бездумно сдвинул — Ему ведь нет дела,
что там, где горела радуга, стоит пустота
в звездном плаще, Что в саду поредела
лунная тень куста.

Заснули птицы в колючих гнездах.
Спят женщины в линючих постелях,
Ночь смотрит на них,
Почти завершила уборку:

Омыла воздуха вспотевшие коленки,
Заштопала от бублика радуги дырку, сбила пенки,
(Их надо разбросать перед рассветом,
Чтобы изобразить клочки тумана,

Утро не подумает об этом).

О пустяках мироздания, что вспомнила, рассказала.

Я свет гашу, ночь зажигает свет и с кошками ложится спать на крышу.

Высохшее облако звенит и будит женщин, но я не слышу.

3.

Звери едят друг друга
В нежной роще ночной.
Пачнет сыростью луга,
И затхлостью речной.
Если бы в мире были
Только голод и страх,
Прекрасные волки выли
бы В наших садах,
Хитрые змеи летали
бы На краю небес.
Кометы мели хвостами
бы Наш маленькой лес.
Не выходя из рая,
Ни совести ни стыда
Не зная, не умирая, —
Кто были бы мы тогда?

4.

В Летнем саду сейчас
Сумрачный день угас,
Боги и нимфы дремлют
Не закрывая глаз.

Лев Дановский

* * *

Снег сухой летит на пруд,
Перхоть белая небес.
Тростника не видно тут,
Посочувствуйте мне, Блез.

Снег сухой летит в лицо,
Почему он так правдив?
Мира хрупкое яйцо.
Шаткий утренний штатив.

Ух, какая круговерть!
Колкий, колкий кавардак.
Леска, тянущая смерть —
Держит удочку чудак.

Он старается не зря,
Будущий владелец щук.
Снег сухой летит, творя,
Хаос радостный вокруг.

ВЕСНА В ГОРОДЕ

То, что было сковано, расплзлось.
Под ногами грязная белизна.
И сестрою-хозяйкою ходит злость
По раскисшим улицам дотемна.

Ах, в какой попали мы переплет —
Не веленевый, а железный нрав.
Гололед на улице, гололед!
То-то ухмыляется костоправ.

Перестанет сниться ли сон дрянной:
Шестерни зубчатые, жернова.
Подмигнет мне пьяненький на Сенной:
«Одна живем, одна».

Эта кепочка набекрень на нем,
Да еще гармонь поперек груди.
Он когда порадует кистенем?
Погоди чуть-чуть, погоди.

А пока частушки он раздает,
Чтобы сёстрам всем по серьгам.
Молчаливым кругом стоит народ -
На Сенной поет Вальсингам!

* * *

Расставаясь, листва произносит...
Налетающий ветер потом
Эту фразу по скверу разносит
Торопливым таким шепотком,

Неразборчивым. Шелест и шорох
Вручены человеку. Но он
В лабиринтах своих, коридорах
Бормотанием тем поглощен,

Что сердечная мышца внушает.
Это прожитой жизни шумы.
Прибывает листва, прибывает,
Прибывает к порогу зимы

Старика в прорезиненном, сальном
На локтях, довоенном плаще,
От которого веет вокзальным,
Пропадающим и вообще...

ИМЕНА

дюймовочка бухарин ПШЖ
антуанетта скрипка статуэтка
романы жан-поль сартра атташе
отдушина копирка и каретка

комедия княгиня адюльтер
хамовники раскольников берданка
торпедоносец лампочка вольтер
народоволец дублинцы и данко

корона территория шалаш
малахов барахолка терешкова
шизофрения выставка гуляш
трибуна пантомима и подкова

медуза оцеола айгешат
спекторский траектория подруга
лузановка чапыгин айзенштат
сцепление и квадратура круга

диаспора колонна календарь
истерика прозрение истома
онегин полоскание вратарь
нужник аккомодация плерома

Олег Рогов

* * *

Если все, что обещано — разве
не об этом дыханье мое? —
умирает в дурном пересказе,
оставаясь чужим забытьем,
я куплю только то, что имею,
заплатив всем составом своим.

В смертном шепоте крик Вартимея
притворяется звуком любим,
побуждая подробное дленье
эту внешнюю память язвить,
это мутное пламя учить —
различению ли, рассеченью.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ

Во внутренней тюрьме в пустой больнице —
где умиранья кружится квадрат
надорванный, цепляя за ресницы,
и окоема правильный распад
напоминает, что уже собою
пора платить последний свой кодрант.
Из тех столиц, которые без боя

сдают врагу, твоя обречена
сначала раствориться в мутном слое
покорности. Безвидная страна
теснит ничем, разбрызганным повсюду.
С предметов облетают имена,
шевелиятся их мусорные груды.
Я слышу только крови мерный плеск,
сейчас она перехлестнет запруду.
Учитель, это что — новый арест?
что, высылка без права переписки?
подкорки шмон или посмертный тест,
где пятый пункт укажет пункт приписки?
— Ты спрашиваешь. Да. Нет. Все равно. —
и мир к зрачкам прилип цветастым диском.
— Ты прыгни в это крутлое окно,
в колодец отраженного экрана,
там крутят нехорошее кино
по лабиринтам детского спецхрана. —
Учитель, ты не знаешь ничего,
тебя так нет, что мир бездонной раной
на миг сверкнет — и поперек всего,
оставив тлеть ненужные проливы
вины напрасной, клочья своего,
моря чужого, милостыню силы, —
из лабиринта внутренней тюрьмы,
сжигая голограмму перспективы —
туда, где быть назначен только ты,
со всеми, навсегда и непомерно,
где средь узор бессмысленной судьбы
ума и участи сияет перемена.

Пыльное озеро, книжка, засечки на букве «р»,
память о верности — это ли пустыня?
Полуостров на северный манер,
где искушают мыслями простыми

(такими, например:

«Есть времени тягучий горький сок,
его втирают медленно в висок,
лурную кровь и зрение больного
надеждой, что обещанный глоток,
взыскующий родного, но иного,
вмещает жизни хлещущий поток
и вольной скорби крепкую основу».

Или еще: «Он думает, что он
не верит, что он знает, и песками
отчаянья отшельник обнесен,
и, поменявшись с пустынью местами,
уже не помнит, где проснется он.
Перед собой, как энный Рим сгорит,
пока песок по венам шелестит».).

Вот и учишь на всех языках слово «быть»,
словно родился позавчера,
хоть и катится весть холодком подкожным:
о неизбежном, невозможном
пора
забыть.

ВЗРЫВ НА ПОМОЙКЕ

Голова моя! голова моя болит.

— Или выдохся неправильный магнит?

Сквозь истаявшие скрепы говорю.

Воздух затвердеет возле самых губ.

Словно мяч, летящий в морду вратарю,
возвращает распадающийся звук.

О как сразу, послушно себя развернув до предела
вожделенной отдельности герцогство пышным распадом созрело
в костяной упаковке, откуда нам выхода нету.

Вот гербарий понятий, резные футляры предметов...

Оболочек скольжение — как бегство дивизий наемных.

Все, что было собой, стало связью пустот закрепленных
и пребудет отныне. Уже меж значеньем и звуком

световые эпохи пропитаны жертвенным туком,

и от слова до слова пространства пустая вода

(в ней мостов растворенных подпорки мелькнут иногда).

И осталось — расстаться. Теперь умирай поскорее, —

ты ведь только обещаю, — неужто кружить галереей

сумасшедших музеев, сознания лишать каталог, —

ты ведь только обещаю, — а значит, не выверен срок

становленья, а значит, возможно исправить

неудачный расклад и фигуры по-новой расставить,

но сначала смахнуть.

И расцвел часовой механизм
очистительной жертвы — как камень, сорвавшийся вниз,

грохот кверху возносит. Раскрой же дурные глаза —

только крошево снов перед жизнью последней, а за —

хлещут хлипкую плоть равнодушно дожди ножевые.

Все, чему научили, слова и картины живые

разлетаются с визгом, еще притворяясь душой,

обнажая каркас вещества и сварной его шов.

Смотришь, словно из ямы на весь этот липкий бардак,
— а ты думал, наверное, что это твой Исаак?

Что ж, пора собираться, маршруты учить навигаций,
просыпаясь от качки и видя, что не с кем прощаться,
что осевшая копоть (гадать ли по ней, как по гуще)
лучше, чем остальное. Что в плаванье ныне идущий
имя, числа, что русский с натальной картой убогой
за подкладку судьбы зашивает пред новой дорогой —
ведь любой из меня, кто польстится на эту приманку,
будет долго бродить в сейфе вывернутом наизнанку.
А забыть или вспомнить — как будто вернуться из плена,
а рассказ оборвать — захлестнет накипевшая пена.

Олег Юрьев

ХОР ПРЕДПОСЛЕДНЕГО ПОХОДА

*Солдаты шагали по руслу реки
И что-то неладное пели,
Проржавое мясо с надорванных лиц
Стекало за ворот шинели.
И были улыбки их голоса,
И волосы гладки от пыли,
Когда по раскрестию глиняных русл
Из фая они уходили.*

строфа I

Не слушали огненных стражей
И в райские шахты сошли,
В сжижённом угле по колено,
В колодезно-звездной пыли.
Мы думали: Это из плена
К себе возвращаемся мы
Под шип разъяренный, заспинный, лебяжий
В распоротом пухе зимы.

антистрофа I

По-рачьи навстречу лежала
Проросшая в гору луна,
И пухло злаченное мясо
И зреньё сжигало до дна.
И всё, что до этого часа

Мы этой дорогой нашли,
Почти что усохло от этого жара,
Расплавилось в этой пыли.

строфа II

Катились гранитные зерна
Беззвучно с сухого ножа,
И тьма, испещренная блеском,
В пещерах была госпожа,
Когда под огнем бестелесным
Мы спали, незримы извне,
На хрупких охапках сладимого дерна,
Растущего в райской стране.

антистрофа II

Как тонко и пресно нагрета
Стена, где кончается путь —
Мы к ней примерзали плечами,
Поверх не умея взглянуть.
И это и было прощанье,
Семян бессеменных лузга.
Потерян поход предпоследнего лета —
Мы больше не видим врага.

эпод

Опять мы уходим из рая,
Не выдавив гной из пупа.
Хохочет пернатая стража:
Шалишь, говорит, гольтепа.

Стучали по днищу приклады,
И скатки сползали с хребта,
В скрипучих бадьях мы наверх поднимались.
Была впереди темнота.

*Когда по раскрестию глиняных рек
Из фая они уходили,
Проржавое мясо с надорванных лиц
Стекало за ворот шинели.
Солдаты шагали по руслу реки
И что-то неладное пели —
И были улыбчивы их голоса
И волосы гладки от пыли.*

ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ

В говнодавах на резине, на резинке, на резиновом ходу
Шел по Невскому к вокзалу, по нечетной, по разъеденному льду
Что-то в семьдесят каком-то (вероятно, типа пятого) году.
Шестиногие собачки, оскользаясь, семенили в поводу.

Â *низком небе узкий месяц, ноготочек (— где же ручка, если серп?),*
Оболокся светлым клубом (бок наполнил, маскируя свой ущерб).
В грузной шубе полосатой и с авоськой, на папахе мокрый герб.
По наружности армяшка, ну, гурзошник, в крайнем случае азерб.

В Соловьевском гастрономе мимо кассы он купил себе курей.
Хладнокровные собачки, все на задних, зябко ждали у дверей.
Быстро сумерки сгущались (ощущаясь всё лиловее, серей...)
В пышной шубе нараспашку, и с куриями — нет, скорее что еврей.

*Не светя, уже светились лампы в желтых газовых шарах,
Усом взвизгивал троллейбус, бил разрядом, щелкал проводом — шарах!
На Владимирский с курями повернул он и попёхал на парах.
Тихоходные собачки с тихим чихом выдыхали снежный прах.*

*И собачий век недолог, а куриный — и того короче век.
В искрах тьмы навек исчезнул этот самый марамои или чучмек.
Ничего о нем не знаю. Лед скололи. Увезли в «Камазах» снег.
Только счастье, цепеня, оседает на поверхность мертвых рек.*

*Остается только счастье. (Да на кофе за подкладкой пятаки.)
Коли стёкла напотели, это просто: Пальцем вытереть очки.
Развязать у шапки уши. Шарф раздвинуть. Кашлянуть из-под руки.
С чашкой выглянуть в предбанник — плоской «Примой» подогреть
испод щеки.*

*Я гляжу от перекрестка в черный город — лязги-дребезги поют.
В магазине Соловьевском под закрытые нототению дают.
Хоть гурзошник, хоть полковник — выпуск окончен. Закрывается приют:
В Соловьевском магазине, под закрытые, швабру под ноги суют.*

*Пахнет солью и бензином, пахнет сажей, пахнет сыростью людской.
Дальний блеск рябит с Марата по Стремянной в переулоч Поварской.
Над Владимирским собором — в пятнах облак — тухнет месяц никакой:
Темнота, сквозь колокольню пропускаясь, пахнет хлебом и треской.*

ОСЕНЬ ВО ФРАНКФУРТЕ

*Как левантинские волосы уже не блестит листва.
У охрупченных остьев — чуть на полчаса естества.
В зараженных аллеях скребут скребки,
И чумные команды сгружают тлен
На дрожащие дымные фуры.*

Ш

До отбоя не справиться. Не разбагрить до Рождества.
Не разграбить на раз, не раскидать по гробам на раз-два,
Хоть аптечные панцири их крепки,
И топорщатся фартуки у колен,
Тачки медленны, лица хмуры.

*Мы сидели за ужином, пока уплотнялся мрак.
В фосфорных цепелинах плыл по окошку враг,
Но чуть колокольчик забрякал внизу,
Пурпур и золото закачались в борще,
Базилик, кориандр и перец.*

*Всем фонарным проушинам было велено сделать кр-рак.
Над бульварной дугою засветился листовенный прах.
Из разбомбленной башни, с морозным пенсне в глазу,
Вышел тот, кого нет вообще,
Из железных дверей.*

Троецветные плоские полосы протесняются в нутрь аллея,
Раздробляясь мельканьем, своей голизны голей.
Осторожный взор христианских машин,
Светофором задержанных на углах,
С трудом отлепляется от бульваров.

Им, поди, это нравится: Плитками лунный клей.
По нему ускользают, куда кипятки ни лей,
Вереницы ссутулившихся мужчин,
И на всех колесницах катит Аллах
В облаках своих шароваров.

*Мы сидели за ужином, в мисках синел бурак.
За соседскою стенкой по-персидски орал дурак.
А внизу исчезали один за одним
В электричестве города и зимы
Последние чумовозы —*

*В брюхе, пелью нагруженном, каменный блеск набряк.
Перед каждым кружился крылатый трехцветный рак.
Неподвижный младенчик висел над ним
С голубыми глазами тьмы
И с дыханием девы-розы.*

1996 г. Франкфурт

Сергей Вольф

СТИХИ ИЗ ЦИКЛА «МОТИВЫ ТЕРВУ» *

* * *

Дни проходят, состоя из коротких поджатых недель,
Лопаются сухожилья — от петель до петель,
Райские птицы поют, но отнюдь не в прогретом раю,
В пальчиках гибких спицы куют и куют кисею.
Да неужели ж простая, донельзя простая строка
До позвонков, словно ток, пробивает в седые бока,
До костного мозга, до сердца и — вертикально — до пят,
Да так, что душевные малые точки вопят и вопят:
Больно, ах, больно, ах, холод, о, холод какой,
Точно стреляют в тебя за туманной рекой,
Будто стреляют в тебя по утрам из подсохшей реки
Намертво, влет, от бедра, от Петра, от Луки.
Ужасом жжет от тобою же сшитой строки,
Это не нож ли, не яд ли — как тягостный принцип — стихи?
Радость — от ужаса,
Пыль — от любви.
Боже, молю тебя!
Останови!
Не тягу, лишь склонность — исполнить сложение строк.
Ведь с буквой синхронность — прилаженный к горлу шнурок.

* Терву — маленькая деревня в Карелии.

* * *

А рано утром хрипло прокричал
Мохнатый петушок из Занзибара,
На Ладоге я слышал этот крик,
Он вдруг среди проток как дым возник,
Сто лет молчал, как в облаке угара.
Печальный крик, переходящий в вой
С поправкой на большое расстояние,
Не вой, но вопль — навеки расставанья
Со мной, с зоомузеем над Невой.
Несладко не увидеть никогда
Обрыдлую всем Статую Свободы,
Не сесть до Акапулько в пароходы,
Не впрыгнуть до Парижа в поезда.
Но этот занзибарский петушок —
Потеря не от жизни, но от Бога,
И крика петушиного дорога
Сквозь темя пробивает до кишок.

* * *

Терзания оптический прицел
Седьмой десяток на меня направлен,
Я беден, спился, одинок, затравлен,
Головкой бел, но словно целка — цел.
Где теннис, где вино, где акт в ночи,
Где акт во дню и глаз, слезой прикрытый,
Где чай, Монтень, прыжки огня в печи,
В обнимку сон и гром, дождем умытый?
Но оказалось — не было души,
А с детства — мне подаренные нервы,
Они преобладали в зоне спермы,

Они не подсказали — не грехи,
Они мне предлагали только крик,
Мышиный страх и рай самообмана,
И только иногда — душевный блик
И всплеск его, как фи́га из кармана.
Что с механизмом внутренним теперь?
Долить в него солярки или масла?
Иль так взломать для алкоголя дверь,
Чтобы свеча взбрыкнула и погасла?

* * *

Гусеница в палатке всю ночь проходила по стенке,
Скорость совсем не меняя и не смыкая глаз,
Ей-то в моей палатке не больно, как мне, коленкам,
Но слышно, как благостный Диззи всем тварям играет джаз.
Гусеница в палатке не слышит смещения ветра,
Не видит, как жизнь спрямляется в темном углу ручья,
Гусеница, ах, гусеница, ты чем-то похожа на вепря,
Как у него — незнанием прочего бытия.
Гусеница золотая, я сейчас распахну тебе стены,
Выпорхни по паутинке и уцепись за мох,
Только не делайся бледной, только останься смиренной,
Тихой и молчаливой — такой тебя видит Бог.
Гусеница, ах, гусеница — такой тебя примет Бог.
Гусеница, ах, гусеница — такой тебя любит Бог.

* * *

А сейчас в Петербурге, может быть, как и в Терву, гроза.
Комары улеглись у подножия кариатиды,
Мокрый клодтовский конь чугунные пялит глаза,

Мокр Невский и скучен, и как бы прекрасен для виду.
С этим городом что-то случилось почти что на днях,
Иль с неделю, иль с год, или же — невдомек — с полстолетья.
Что хранилось гранитом, теперь почивает на пнях,
Ни созвездья глазам не видны, ни соцветья.
Вся его старина разве что англичанину в блеск,
Вся его новизна, как бы раньше сказали, — для бедных,
А у невской волны будто нажит искусственный плеск,
А естественный вымер — до тонов незаметных и бледных.
Так что, если гроза, значит, в Питере пьется вдвойне,
Телефоны молчат, кое-кто никуда не выходит,
Петр давит змею, что довольно легко на коне,
И по Марсову полю мертвец очарованный бродит.

* * *

Одна, но трепетная лань
Под дубом, скрючившись, лежала
Там, где ручьем река бежала,
Цветочкам отдавая дань.

Кто скачет в воздухе пустом?
Кто мчится, не касаясь взгляда?
Кто, от сердечного уклада
Напившись, плачет под кустом?

Он твердость вдоха уберечь
Сумеет самоупованьем,
И пренебречь своим страданьем,
И сохранить от взглядов речь.

Ртутный столбик у забора
Сжатых губ на перекрестке,
Удивление,
Сомнение —
Вот и кончилась война.
Мы выходим из узора,
Из распада на известке,
А вокруг —
Столпотворенье,
И не осень, но весна.

Мертвой хваткою схватила
Эта маленькая лапка,
Перепончатая дважды.
Что же делать? Как тут быть,
Не поживаясь зябко?
Лишь собою оросила
И тихонечко спросила:
Как нам дальше
Плыть да плыть?

Валерий ШУБИНСКИЙ

МУЗА

В своем разрушенном богами доме
Рычанью Псарского Села
Внимала ты, что та царица, в коме.
Но я позвал — и ты пошла.

О мышшь, бежавшая за Аполлоном
По острым греческим кустам,
Мы шли с тобой к облупленным колоннам,
К заросшим памятью местам,

К вершине синеватой пирамиды
За тенью смелого шмеля,
И в край, где все разъято и размыто —
Сквозь дырку вещего нуля.

Я, как цыганку, взял тебя из хора
И заставлял ночами петь.
Уже серебряную свадьбу скоро
Нам отмечать с тобой. Ответь —

В счастливый день, когда, простясь с тобою,
Я стану выстрелом глухим,
А ты опять — Бог весть какой тропюю,
За голосом Бог весть каким,

Кому пойдет та мелочь, что осталась —
Помимо вспльчивого сна:
Мой скарб словесный, и твоя усталость,
И наш ребенок — тишина?

деет

ЭТА ОСЕНЬ

От этой осени такой идет дымок —
Пятнистый, водяной и с запахом блудливым —
Что если б мир хотел — уже давно бы мог
Раскрыться сине-розовым нарывом.

Весь в дырках низ его, весь в щелях плоский верх
(Кой-где они прикрыты серой паклей).
Идет проспектом желтый человек,
Стуча резною деревянной палкой.

Он дышит медленно, как сумасшедший конь,
Он мандарином был — теперь как будто выжат,
Во сне он бабочка, а наяву — дракон,
Который у него на платье вышит.

Мы — точки на его нефритовом кольце,
И чем скорей умрет он, тем скорее
Мы до конца доснимся, а в конце
Как в жизни, но еще желтее и серее.

Я, обогнав его, вхожу в казенный дом,
Где под началом сплющенного тролля
Стрекохут маленькие девки нагишом
В колечках старческого пергидроля.

В ответ на мой незаданный вопрос
Хавронья ушлая заглянет в картотеку
И скажет: в колбочке почти уже подросток
Звереныш нам с тобою на потеху.

Он будет песни петь и на спирту гореть,
И воскресать из пепла, и не плакать,

Мы будем днем над ним смеяться и стареть,
А ночью в шелкающем море плавать.

Пружина золотых заоблачных часов
Сто раз успеет сжаться и разжаться,
Пока вконец не залистают книгу снов,
И эта осень будет продолжаться.

1996

Светлана Кекова

* * *

1

Среди овечьих впадин и гуртов
искусство спит, но бодрствует наука.
В глухом и грозном подземелье ртов
есть воля к цели и свобода звука.

Но в языке, среди его примет
ты обнаружишь разума изнанку
и вывернешь какой-нибудь предмет
во рту сорочьей кровью наизнанку.

2

Спит земли черноземная сфера,
только солнце встает из-за гор,
и предательства высшая мера
начинает вершить приговор.

Не в пиру наступает похмелье,
не от боли рождается боль, —
есть у неба свое подземелье,
где любовный хранят алкоголь.

Если, друг, ты и вправду ворвешься
в поднебесье на праведный суд —
ты о жизни своей не тревожься,
этой чашей тебя обнесут...

...но если есть у истины поместья,
они вверху растаяли, как дым...
Мне не увидать храма средокрестье
и купола прозрачного над ним.

Вокруг меня — следы пустого знания,
шары цветов, скопления звездных масс,
сквозь них я вижу схему мироздания,
разлуки проступающий каркас.

Пренебрегая пищу и кровом,
оставив все, летит душа на свет.
Ей без тебя успокоенья нет.
Чужое тело служит ей покровом.

ВОСЬМИСТИШИЯ

1

Ты ответишь минутою позже,
чем закон совершиться готов...
В перекрученной заживо коже
есть сухие отверстия ртов.

И звезда, иссякая над степью,
отболевшей земле говорит:
— Мы единою скованы цепью,
только в звеньях огонь не горит.

2

Ты ответишь минутою позже,
чем закон совершиться готов —
в перекрученной заживо коже
есть отверстые раны для ртов.

Сквозь разрушенный иглами ельник
отражается в черной воде
муравейник, бредущий, как мельник
с кисловатой мукой в бороде.

3

Тоской и сомнением правы
схватившие время за плащ...
Я зрения вижу суставы
и чувствую в будущем хрящ.

Рукою дождя шевелящий,
выходит закат на крыльцо,
чтоб тронуть кормилице спящей
сведенное мукой лицо.

4

Закручен в дудке зверобой
и бьет в кабаный след,
а звезды с заячьей губой
в себе сжимают свет.

Возьмешь крупицу на зубок
души, познавшей мощь, —
а это ящериц клубок,
и хрящ земли, и хвощ.

5

Простит, раздавит, обрастет
корой пера, как суч...
Из-под земли сухой растет
не тень бича, а бич.
Круша листву, корежа лес
и издавая свист,
уже спускается с небес
ему навстречу хлыст.

6

...и в тяжелой муке оплодотворенья
чужое семя молча лижет он,
пока в пыли, как в первый день творенья,
ползет по суше твердой скорпион.

И, скорлупу, прокалывая спицей,
он шевелит зародыши людей
и видит сквозь измученные лица
коричневые спины желудей.

*Нина Садур
Сергей Вольф*

ПРОЗА

Нина Садур

ДВА РАССКАЗА

ИГОЛКА ЛЮБВИ

Миловидная Соня любила мужчин, но никогда себе такого не позволяла: на улице или по телефону познакомиться. Она боялась нарваться... Но вот тут нечаянно как-то познакомилась. Сама даже не поняла, как. Мужчина ошибся номером, а разговор все равно завязался. Какой-то особенный трепет в голосе привлек ее, она не бросила трубку, а, наоборот, разрешила с собой встретиться.

Полноватый, лет под сорок, Владимир Львович совершенно Соне не понравился. Ну уж не так, как его бесплотный, что-то обещающий голос. Но падал снег, были сумерки и безветрено, а в такие минуты кажется, что кто-то вас обязательно любит. Этот кто-то как бы присутствовал при Сонином свидании с вялым господином, и она зачем-то замечала, что на воротнике у того остро блестят снежинки. Этот их блеск примирил, и Соня не раздражалась. Владимир Львович был изобретатель. Соне-то на это было плевать, но почему-то слушала. Он сказал, что дома у него фонтан, Соня подумала, что креси, но ни с того ни с сего пошла смотреть на фонтан. Правда, на столе стояла чаша очень красивая, непонятного стекла, лиловая с дымом внутри стенок, и из нее била струйка воды, если нажать на кнопку. Вообще-то вещь была хорошенькая, а Владимир Львович сказал, что фонтан полезный, он очищает воздух и не дает легким стареть прежде времени. Он включил подсветку и струйки воды совсем разыгрались, как Новый год, а от бликов подсветки казалось, что и сама лиловая чаша словно бы льется, не меняя формы, словно бы в ее стенках происходит томительное, сонное движение.

Что-то Соне как-то и понравилось: и полка с книгами висела, и на кухне старенькая мама транзистор настраивала на легкую музыку. Потом деликатно ушла, покивав Соне на прощанье.

Соня была согласна. Но произошло другое. Владимир Львович

поводил руками у Сониного лица и страшно обрадовался. «Есть, есть в тебе это!» Он объяснил, что Соня особенная, у нее великая возможность проникать куда-то. Что если она послушается, станет все делать, как надо, у нее будет могущество и умение видеть вещи сны. Про то, что дальше, про то, чего никто не знает. Могущество не заинтересовало, а про будущее, конечно, очень. Владимир Львович дал ей желтую записку с молитвой какому-то Азраэлю, в которой страшно, но и красиво было написано, как люди встают на колени перед могуществом смерти, потому что сильнее ее никого нет.

Если Соня выучит слова, то сможет видеть сны про будущее, сказал Владимир Львович.

Соня, конечно, догадалась, что Владимир Львович, если не импотент, то все равно не очень-то, и все эти заумные штучки для того, чтобы удержать хорошенькую Соню при себе. Чутьем миловидной и опытной женщины она об этом догадалась.

Идя домой, Соня ощущала какое-то веселье, легкость, вот-вот полетит. Как немножко пьяная. Так ни разу в жизни не было. И все еще падал снег. Загляделась. И опять показалось в его бесплотном, посверкивающем мелькании, что где-то Соню кто-то очень сильно любит. Но теперь от этого наплыла тоска и Соня рассердилась, потому что больше хотелось летать и волноваться.

Дома, развернув хрупкую бумажку, читала про людей, про маленьких детей, про неведомых рогатых зверей, про сумрак и глубину смерти, про невыразимый ужас ее и ее сильную, наисильнейшую силу. Про то, как поклоняются смерти неисчислимые народы. Про какую-то глину и стоны. Покорность и молчание. Ничего почти не понимала. Но великое, печальное, торжественное, как почетные похороны — было в этом. А имя Азраэля вспыхивало, как маленькая искорка.

Владимир Львович забылся, как ненужный, а непонятные слова заставляли себя читать и читать, проговаривать каждое внутри себя. «Вещие сны». Про это Соня думала, но почему-то без особого любопытства. Главнее были тягучие те слова.

В первую ночь Соня, прочитав на ночь слова с бумажки, ничего

не увидела. Проснувшись, удивилась, что лицо у нее мокрое от слез и горит, будто ей надавали пощечин.

Днем, радуясь неизвестно чему, поджидала ночи, и только удивлялась, зачем спешат, скользят с сумками, с глупыми какими-то лицами такие некрасивые люди кругом.

Ночью, прочитав бумажку про народы и Азраэля, Соня вновь легла спать. И ей приснилось, что все белое. Вернее, ничего. Один сильный белый свет везде. Соня то ли стояла в нем, то ли что, где она была? не могла понять, свет шел отовсюду сразу, и шел легко, сильно, не было ему нигде препятствий и это было так правильно, что удивлялась спящая: как же раньше об этом не догадывалась? О простоте, о непреграждаемом свете. Он чуть ли не через нее шел и она сама прямо им и была. Но в то же время Соня. Отдельная. Но вот из света прямо в лицо Сони выдвинулось лицо. Так внезапно, что Соня даже отпрянула (и в то же время не двинулась, она это тоже понимала, как про свет). Но всё: и свет, и как отпрянула, мгновенно забылось. Лицо. Оно было такое прекрасное, что Соня поняла, сейчас ее сердце разорвется. Глупо описывать глаза там, рот, нос. То, чем горды наши людские лица. Конечно, и глаза и все прочее — все было. Но так, для обозначения, для разговора с человеческими чувствами. Соня не понимала, как вынести эту нестерпимую, едва сдерживаемую красоту, и зачем так сильно, зачем так сильно! Лицо было гневно, оно было гневно, оно все сверкало гневом. Даже непонятно было, мужское оно или женское, даже дико про это подумать было. Лицо было гневно и оно хотело говорить. Оно кривило прекрасный рот, и Соня всеми жилами своими ощущала, какие силы прилагает это Лицо, чтоб заговорить, что ему больно, что ему нужна Соня, непостижимо, печально и очень любовно нужна маленькая Соня и от этого Соня страдала невыносимо, от того, что лицо, чудесное, гневное, сверкающее, не может вымолвить ни слова (по вине самой Сони!), что оно кривит свой прекрасный рот, а Соня даже не понимает, как больно, больно этому любящему.

И вот Соня чувствует, как по жилам у нее растекается печаль такая, грусть, такое горе, удивление, и совсем уже неуместная нежность, похожая на разлуку, что ли, и совершенно ясно, что нужно

стараться, биться и драться с кем-то, и претерпевать, и отбиваться, и строго-строго ругать кого-то, нет, проклинать, и драться, и только когда вся душа обольется кровью (омоется багрянцем!), то свершится... и Соня уже собралась заплакать, но видит, что Лицо само все в слезах, что оно плачет, недоступное, неопишное, излишне прекрасное, самое родное, что только и может быть, и, видя свою к этому Лицу любовь, Соня понимает, что она сама такая вся какая-то маленькая, такая Соня, и все это — сон. И когда она поняла это, Лицо пропало и сон кончился.

Наутро Соня даже забыла думать про вещие сны. Но, что самое странное, не то, какое несказанно прекрасное лицо, не это запомнила Соня, а новая, никогда не испытанная прежде печаль. Как будто иголка засела в душе и ныла-ныла. Совсем этого не хотелось. Хотелось жить, как прежде. А не обжигаться при каждом вдохе, как будто умираешь от любви, на которую нечем, не можешь, не знаешь как ответить.

Соня позвонила Владимиру Львовичу, но тот сказал, что занят, что он, когда надо, сам ее найдет. И она побоялась настаивать.

А к вечеру бумажку вдруг и не нужно стало читать. Внутри самой Сони зазвучали великие, какие-то лиловые, хоровые, как стон, слова. И, засыная, успела только вымолвить, как искорку, имя Азраэля.

И вот видит Соня, правда, пустыня песка, и вся она лиловая. Соня идет по ней и замечает людей, видит, они не похожи на наших, они красивые, страшные, и уж несомненно странные. И разные, и чернокудрые, с маслянистыми до плеч гривами и движениями томными, и резкие, бледноволосые, с застывшими лицами воинов, и черные как ночь, с вывернутыми красными губами, и узенькие, ласковые в движениях ускользающие, как сливочное масло, китаезы... И все эти люди смотрят вперед, туда, куда идет Соня, и все они преклоняют колена. Лица их заморожены ужасом, полны ужаса, но такого великого... он такой сильный, что уж похож на восторг.

И вдруг видит Соня, что вся пустыня оттого лиловая, что и не песок, а все люди, люди, насквозь, в самую глубину, друг на друге, а на них падает откуда-то такой вот лиловый свет, и они хороши все, прекрасны несказанно, но истомлены страшно и губы у них в ко-

росте и трещинах, словно им не давали пить. Тут она поняла, что идет-то она по ним, по людям, неисчислимы они, и, глядя на одних, совсем не видит, что все — не песок, а все — люди, и она идет по ним, но тут же поняла, что это ничего, что так здесь устроено, и все тут. Все были на коленях, и маленькие дети — да! А младенцы лежали ничком, а матери стояли над ними, как волчицы, на четвереньках нависали над тельцами младенцев и молоко из сосцов капало на пух младенческих затылков. Матери, оскалась, глядели туда, куда шла Соня, и лица их тоже были лиловыми и истомленными, будто им не давали пить.

И вот Соня вдруг поняла, сейчас выйдет тот, кому все поклоняются, и что ей тоже надо стать на колени, потому что она одна здесь несклоненная в этом сумраке, и ужас одиночества охватил Соню, и ей захотелось припасть к общему, потому что все это люди, люди, а тот, кого ждут, он непостижим. Соня опустилась на колени, чтоб больше не быть одной, чтоб не быть заметной тому, кто выйдет, сияя лиловыми очами, дымясь лиловыми рогами, неся победу и власть свою, и когда колени ее уперлись в чьи-то затылки и скользкие от пота плечи, удивительное, как бархат, как черное вино, как далекая неразборчивая песня, томление охватило Соню. И она поняла, что больше ничего не будет. И не жалко.

Утром Соня проснулась бодрая и ясная, никакой иголки в душе не было. Да и того, пустынного сна тоже не помнила. Заспала.

А тут позвонил и Владимир Львович...

СОМ-С-УСОМ

*«Через несколько дней дети вырастут
станут бить меня горевать...»*

А. Денисенко

— Ишь, какой ты! — миловидно обиделась.

«Раз-два!» — твердо постукала ручкой ножа. Костяной звук шел от головы его.

— Почему ты не спишь? — укоряла, склонялась над ним выпуклым лобиком.

От нее шла прохлада, как от доктора. В белом халате она и не походила на продавца. Медсестричка такая. Сама молодая, она непроизвольно потянулась к нему, молодому, руки сами его выбрали — прикоснуться. Из симпатии к ровесникам, из негласного союза юности, которая не может от старости, даже прикосновений ее не выносит, прячась в свежую прохладу хрустящего халата.

Сом бился на весах. Он понимал, что эти руки с колючими пальчиками его немножко ласкают, оглаживают, пробуют успокоить. Но ныло внутри, в бледной, ненашей крови, в том месте, где нет души у усатых тварей, тем более у подводных, там, в надбрюшье, между хрящей — болело и плакало, он догадался, что куда-то отправится он один-одинешенек, не своей волей отправится сом-с-усом.

А нечаянная подружка, та ускользнет, как-то она его выдаст после всех своих приободряющих пошлепываний и поглаживаний, закричит страшно-хищно и вонзится. И сразу все эти склонятся над ним, как склонялись, бывало, над прудом свысока, из синего смелого света, виднелись пятнышками лиц, а он из ила, из приятного сонного сумрака слал им ответные взоры твари подводной. Тогда они были равны — они и он, все живые, и с любопытством друг друга разглядывали. Но сейчас что-то случилось, и он бился и вздрагивал, от смертельной тоски научившись понимать, что они все живут быстро-быстро и от этой скорости он, толстый и задумчивый, погибнет, не успеет за ними. Поэтому надо биться изо всех сил — может быть, удастся свалиться в прохладный родимый сумрак подводя из их голого грубого света.

Сом бился сильно. Соскальзывал с весов, гонял стрелки, взвешиваться не хотел. Очередь в сомнении была — еда ли он?

Сом был самец. Девушка была — продавец. Она — ладошки лодочкой, нежно, но решительно сдавливала его бока, непривычное тепло шло к нему, довольно приятное, он на миг замирал, — послушать, а она наклонялась над ним лицом неясным, светловатым и шептала, чтоб не трепыхался, дался взвеситься. Она думала — если я с ним буду ласково, он очаруется и подчинится. Замерзшие пальцы

соскальзывали, вдавливались в дрожащие бока маникюром. «Ну-ну, вот, сейчас!»

Молодой, ловкий, не такой бледнобрюхий, как другие сомы, развалянные, приготовившиеся умереть, он ей был симпатичен тем, что боролся, бунтовал, дрался за себя.

А когда, поборов, закатала его в бумагу, разочаровалась в нем, перестала с ним разговаривать — стал продукт.

Очередь расслабилась — поскорее забыть беспокойного. Но вдруг занервничал крупнокостный шофер молодой: «Мне тяжелый КАМАЗ перегонять за Уральский Хребет. Двое суток не спать. В лютом мраке безлюдья «держись, шофер, крепись, шофер, ты ветру и солнцу брат», ломаюсь, встану — жду коллегу-шофера на подмогу: вместе наклонимся над горячей мордой мотора, искать поломку... Но пока он почует беду мою, пока он примчится на помощь по пустынной дороге. Можно взвять — только радио шепчет, а ты жги костерок. Кое-как сам починился, поехал, гони за Уральский Хребет. А Уральский Хребет, ребята, это самое страшное — там из земли, из разломов исходят особые токи, чтобы ты истомился, изныл и упал, обессилив, лицом на кремнистый шершавый Уральский Хребет. Я там выжимаю за 200. Только искры визжат под колесами. Все равно приежаю — весь в слезах.

Если я его в кабину положу — он не умрет?»

— Что вы, сом даже переползает, если высохнет водоем. Он 10 часов на воздухе может, просто замрет в своей коже, уйдет в себя. Будет думать про родную воду.

— Мне за Уральский Хребет, он дотянет, дотерпит, я его в кабину положу, будет мне товарищ в дороге, во мраке. Всякие мысли лезут — даже не веришь, что твоя голова. Дышишь грудью, высокая ночь вокруг, человека как будто и не было в мире, только радио шепчет, что был; я не верю, баранку кручу, лбом в лобовое стекло, встречный ветер нас хочет смести, затопить темнотой, мы не сдаемся: я и лобовое стекло, бурим крутолобо мрак густой: захлебнуться — гуще воды, нам нельзя, мы дышим воздухом, я и мой друг, мой дружок, Сом Иваныч, Сема, друган мой, двоюродный брат и племянник, я его взял с собой в рейс — Москву показать. Замкнулся

в себе: «Дядя Паш, давай перевалим обратно, — за Уральский Хребет! Я в техникум стану поступать, остепенюсь после армии, здесь я — умру, через десять минут, нечем дышать! Одни слезы от этой черной московской земли». Совсем плохой, еле дышит, надо успеть. Не сломаться бы по дороге...

Вот такое рассказывал сибиряк, робко оглядывая сомов, который из них встретится взглядом с ним, незаметно кивнет: мол, поедем с тобою в кабине. За Уральский Хребет.

А один юноша терся в очереди просто так, поглазеть. Рыбный прилавок его привлекал живыми продуктами, в то время, как на остальных прилавках снедь не шевелилась. Ничего не покупая, он проводил свое время в наблюдениях, иронично кривя красный рот. Юноша досмотрел бы про молодого шофера, сибирскую деревенщину широкоскулую, но молодого сома (того, в бумаге) уже уносила одна молодая женщина в вытертой шубке, а юноше остро захотелось узнать, что будет с сомом в бумаге, и он выбежал из магазина, не забыв обидно засмеяться в лицо всей очереди.

Поскрипывая сбоку, он аленьким дыханьем жег щеку незнакомке. Та искренне не замечала, и тогда он ее обличил:

— У вас живое в сумке!

Женщина обрадовалась разговору и сама все рассказала, лаская его узкое лицо шелковистыми своими глазами.

— Это рыба. Она уснет, пока я дойду. Я ее запеку в духовке.

Юноша, чуть торопясь, сказал, что он Аркадий, а рыба не уснет, и он может помочь убить. Женщина, в свою очередь, сообщила, что она Светлана Юрьевна, и приняла помощь убийцы. Она спросила, есть ли у него еще какие-то дела, он взял, сказал, что есть, но он их потом переделает. Но женщина разволновалась, задышала, стала просить его не идти с ней, наконец, встала совсем, наотрез отказалась, и он вырвал сумку у нее из рук, сказал, что это его личное дело, и он, если обещал, то сдержит и назад своего слова не возьмет. Всю дорогу он потряхивал сумку, он боялся, что сом уснет сам. В сумке старались не шевелиться.

Один раз сели отдохнуть на скамейку, сумку Аркадий подчеркнуто поставил между собой и женщиной. Вглядывались в путаницу

ветвей: тревожила блестящая между ними черная вода пруда. В сумке затаились, почуяв тяжелый запах стоячей воды...

...Если б сейчас забыли про сумку, заговорились, увлекшись друг другом, смеясь, конфузясь, играясь, убежали б совсем. В кафе.

...А сумка была открыта, и сом мог бы разворошить бумагу, высунуть тупорылую морду, повести дрогнувшим усом и перевалиться через край, сильной тушей опрокинув сумку. Он бы дополз, царапая бледное брюхо о стекло и мусор покатых дорожек, он бы перевалил через бордюр и плюхнулся в воду, и ушел бы на дно, поранясь о ржавый край жестянки, торчащей из ила, он бы сам закопался в ил. Прежде всего крепко выпасться, пошевеливая усами от беглых сквозняков, и навеки забыть этот смертный страх света-воздуха. Невыносимо.

...Сидели долго. Пришли на второй этаж темного дома. В сыром затхлом подъезде больно и громко застучало сердце у юноши. А потом Светлана Юрьевна открыла дверь и пришла в кухню, а там уже включили свет. Окно в кухне было настежь распахнуто, и в него тянуло тем самым запахом черной воды, хотя пруд был довольно далеко. Юноша разозлился на этот запах, но попросить закрыть окно — не посмел.

На свет вышел из недр квартиры белолицый, как будто в начале водянки, мужчина с масляной головой. Он был в тренировочных штанах и бледной кофте на пуговицах. Он жмурился, будто свет ослепил его.

Юноша оцетинился, звонко стал говорить про философию и что в МГУ принципиально не поступает, чтоб не сбить ход мыслей. Супруг растерялся — был просто инженер-плановик. Он робко гладил жену по спине, будто заглаживая ушибы, дрожащие улыбки слал юноше. А тот разглядел, что миловидная жена этого утопленника немного косит. Поэтому взгляд ее и казался скольльзящим и шелковым. Юноша кривил тонкое лицо в неясной усмешке, принципиально смотрел поверх их голов, и подбородок его почти не дергался. А развернутый сом крупно дрожал на столе. Из окна к нему долетал запах воды. А когда возбужденье от встречи улеглось и все подошли к нему, от этого он задрожал так сильно, что упало и разбилось

блюдце.

Не знали, что делать. Топтались на расстоянии от стола. Сом жил и жил, спать не хотел. Тыкали ножом, нож соскальзывал, мышцы дергались судорогами — не пускали в себя нож. Тогда юноша попросил спицу, чтобы вонзить в нервный центр (когда-то он работал санитаром в больнице). Он подумал про запах воды, который придает сил этой твари, но опять не осмелился попросить, чтоб закрыли окно. Спица скользила. Тогда юноша грудью налег на нее. Получилось: металлический прут двуострый от нажима вошел. Задача была: вогнать прут в плоть. Получилось. Прут вошел и в грудь и в сома. В сома навеки, а в меня ненадолго. Сом вскрикнул, выдохнул и обмяк; я же свой укол — промолчал. Сом вскрыли, обмыли, а я тайно ушел, как будто по нужде, а сам внезапно свернул в ванную. Там, перед зеркалом (даже не потрогав красивые, пыльные флаконы), я свитер задрал и ранку свою полюбил.

Сом был хорош в соку. Хороши были шкварки на противне, а тучное белое мясо расплзлось, как тесто. Наелись. Сом питается падалью и живет триста лет.

— Мама моя была сумасшедшая, — рассказывал сытый, красные губы лоснились. — Мне она говорила, что человек длинней своей жизни. Не после смерти длинней: а сейчас, пока жив, своей жизни — длинней. Как, например, ветер в какой-нибудь глухой степи длинней времени, закрученно тикающих в железной коробке часов марки «Слава». Она говорила, что помнит меня маленьким в байковых штаниках и свою жизнерадостную молодость с библиотечными книжками. Постепенно мы с ней разошлись. «Стала я некрасивая, ожиревшая, заворот мозгов, сосуды полопались, обожаю селедку, варенье, мучное, я тебе, молодому, несытому, до ужаса неприятна. Ты стыдишься, прячешь меня за занавеской, когда приходят твои товарищи».

Трогать себя я ей запретил. Я тосковал, что не работаю больше санитаром в больнице. Питались мы плохо. Ее инвалидная пенсия, да я соберу — сдам бутылки. Постепенно она совсем забыла, что я ее сын, бормотала, умильно глядела вперед, бледные глаза сияли, с кем-то она говорила все время. Умерла в больнице, из морга я ее не

забрал — не на что было похоронить.

Юноша нагнал сумерек. Вечер надвинулся. Муж и жена жались друг к другу. Сомий скелет белел на жирном противне. Где-то напевала женщина. Все трое удивленно прислушивались. Снег за окном отталкивал темноту, лилово взблескивал. Супруги поглядывали на юношу вопросительно. Муж покашлял и фальшиво спросил:

— Светочка, тебе, кажется, пора уже спать?

Она не посмела ответить.

А он не уходил, накапливал в себе злость. Ранка на груди его подсыхала, прилипала к свитеру. Наконец, он решился, молча встал и пошел, не оглядываясь, никто не посмел его проводить до дверей. Уходя, он оставил дверь открытой, чтобы сквозняк из нее сшибся с ветром из кухонного окна, которое так и не закрыли. На улице оглянулся, задрал голову, чтобы обидно засмеяться красными губами на их слепые стекла. Прохладный ветер приятно холодил горящие щеки.

1-2 ноября 95 г. Берлин

Сергей Вольф

ТРИ РАССКАЗА

ЖАБА

Лицо у меня красивое. Меня даже на открытках печатали, «С Новым Годом», потом на детском мыле, а один раз даже на обложке журнала — цветная фотография во всю страницу. Ну, в кино снимали само собой. Недавно даже хотели, чтобы я сыграл главную роль в фильме про дружбу, только ничего из этого не вышло: у меня глаз теперь дергается, левый, здорово дергается — щурится, закрывается. На студии меня снимали слегка, переругались все, перессорились из-за глаза, стали потом показывать пробу — прямо смех. Где лицо во весь экран — просто черт знает что: глаз дергается, как ненормальный. На студии все стали говорить папе и маме:

— Что вы с ним сделали? А?

А они молчат, совсем расстроились и не знают, что говорить. Ну это все честно, они и сами не знали, я им про глаз не стал рассказывать, про то утро, когда в домохозяйстве решили организовать сводный детский хор нашей улицы. Меня послали ходить по дворам и записывать детей.

Я сначала зашел в 5-ый дом, потом в 7-ой, потом в 23-ий. Там двор идиотский, ненормальный какой-то — маленький, а стены высокие, восемь этажей, как в черной бутылке сидишь. Терпеть не могу такие дворы.

Во дворе никого не было, только какой-то толстый мальчик не из нашей школы и чернявенькая девчонка вроде первоклассницы. Он ее возил кругами на самокате, а она визжала.

Я им все толково объяснил про сводный хор нашей улицы, и они оба записались. Потом толстый сказал:

— А Ирку лучше вычеркни, у нее голос поганый.

— Хорошо, — сказал я. — Нам поганые голоса не нужны. А Ирка это кто?

Он показал своей толстой рукой на чернявенькую первоклассницу, я поглядел и не увидел, где ее лицо, а увидел только ее спину и что она дрожит, а головы не видно — она ее опустила. Спиной она была похожа на кузнечика. Я хотел сказать, что вовсе не собираюсь ее вычеркивать, я не знал, что она и есть Ирка, а она все дрожала, и я все никак не мог начать, а толстый стал пыхтеть и фыркать, и вдруг кто-то сказал громко и сверху:

— Это что еще за жаба?!

Я посмотрел по стенке вверх и увидел в окне на пятом этаже мальчишку. Я смотрел, как он стоит там, в раскрытом окне, на самом краю подоконника, засунув руки в карманы и покачиваясь, и вдруг обозлился — и на толстого, и на первоклассницу, и особенно на этого в окне, на его дурацкую храбрость и на его «жабу».

— Чего ты ее обзываешь?! — громко сказал я.

Лицо у него было худое и какое-то черное.

Он засмеялся, покачиваясь на самом краю окна, и сказал:

— Ты — жаба. Это ты жаба.

— Кто-о?

— Ты, — сказал он.

— Я жаба?! — Я даже задохнулся. Если бы он сказал «красавчик» или «деточка» — ладно, я привык...

— Венька, слезь с окна, — крикнула первоклассница.

— Все равно он не падает, — сказал толстый, — только качается.

— Слезь, — попросила первоклассница.

— Слезь, слезь! — крикнул я. — А то мне лень к тебе подниматься.

— А мне лень спускаться, — сказал он, покачиваясь.

Толстый взял самокат и пыхтя стал ездить вокруг нас, а первоклассница подошла совсем близко ко мне и взяла меня за руку.

— Мальчик, — сказала она, — пусть он слезет, он каждый раз так...

— Чего ты не слезаешь?! — заорал я. — Боишься, что ли, спуститься?

— Я не боюсь, — сказал он, покачиваясь. — Ты разве сам не видишь, жаба, что я не боюсь? Просто мне лень.

Он раскачивался взад-вперед, наружу-обратно, а руки так и не вынимал из карманов, толстый все ездил вокруг нас, пыхтел, а первоклассница глядела наверх и моргала.

— Спустишься ты или нет?! — крикнул я.

— Лень. Мне — лень. Мне — лень. — Он все раскачивался.

— Тебе от матери такое будет! — крикнул я.

— Она где-то на юге болтается, — сказал он.

— Ну от отца! — крикнул я.

— Тыры-пыры, — сказал он, продолжая раскачиваться. — Тыры-пыры. Отец в командировке на полгода. А может, врет.

— Ну в школе!

— А на школу я плевал. Пусть жаба ходит в школу.

— Слезаешь ты или нет?! — крикнул я.

— А мне лень. А у жабы волосы вьются.

— Трус пугливый! — заорал я.

— Ух ты, — сказал он и перестал раскачиваться. — Хочешь, я тебе на башку прыгну?

— Трус, трус! — крикнул я.

— Иди ближе, чтобы я прямо на башку тебе свалился, — сказал он.

— Не ходи, мальчик, — сказала первоклассница.

А толстый все ездил вокруг нас.

— Знаешь, что не подойду, потому и говоришь! — крикнул я.

— Иди-иди, — сказал он. — А то мне ждать надоело.

— Фигу я к тебе подойду! — крикнул я.

— Смотри, а то мне ждать надоело, — сказал он.

— Ой, не подходи, — заныла первоклассница.

— Иди-иди, — сказал он.

— Трус! — крикнул я.

А толстый все ездил кругами.

— Трус! Трус! — крикнул я.

— Венька, — тихо сказала первоклассница.

А он легко-легко наклонился вниз.

Глаз у меня вдруг дернулся.

А он наклонялся все больше и больше, руки в карманах.

Толстый все кружил на самокате.
А глаз мой задергался.
И я видел, как окно стало пустым, а он легко скользнул вниз.
И летел.
Толстый все ездил.
А он летел.
А глаз мой дергался.
И я все видел.
Толстый ехал вокруг нас.
А он летел.
А я смотрел.
Я все смотрел.
И глаз у меня дергался, дергался, дергался.

1959 г. Ленинград

У НАС НА ТЕЛЕВИЗОРЕ

— Папка, папка! — закричал брат Изя. — Папка из Гомеля приехал!

Я выбежал на кухню. Папа стоял в дверях с двумя большими чемоданами. Мама повисла у него на шее.

— Ну, ну, все в порядке! — сказал папа. — Возьми-ка лучше чемоданы. Квартир-рка! Газ!!! — заорал он.

Изя выключил газ. На кухню вышла слепая бабушка Рива.

— Моня приехал, — сказала она, размахивая руками. — Из Гомеля.

— Здравствуй, мама, — сказал папа, целуя ее в щеку. — Как дела? Смотришь телевизор?

— Не так часто, — говорит бабушка, — очень глаза устают. А жаль — каждая передача перл.

Каждый день, кроме четверга, бабушка Рива смотрит телевизор. Она слепая. Не то чтобы слепая и плохо видит, а совсем слепая — ничего не видит. Она слушает, что говорят по телевизору, а я ей рассказываю, что происходит.

Сегодня заграничная картина. Герой — шпион. Девушка, которая его любит, хочет его выдать.

— Молись, — говорит герой, доставая револьвер.

— В церковь пошли? — спрашивает бабушка.

— Да нет же. Он хочет ее убить.

— А-а...

— ...чтобы она его не выдала.

— Зачем ей это надо? — спрашивает бабушка.

Гремит выстрел.

— Убил? — спрашивает бабушка.

— Еще не знаю. Показывают его лицо.

— Лицо негодяя, — говорит бабушка.

— Убил, — говорю я.

— Почему ты знаешь? — спрашивает бабушка.

— У нее грудь в крови и голова свесилась с дивана.

— Ох уж насмотришься этих передач, — говорит бабушка.

— Показывают поезд на полной скорости, — говорю я.

— Что, другое кино? — спрашивает бабушка.

— Да нет же, то же самое.

— А-а...

— Показывают купе. Усатый бреется.

— Это который ее убил?

— Нет-нет, другой.

— А-а... помню. Это тот, которому тот, который убил, сказал в ресторане: «Вор ушел, но я обещаю вам его взять».

— Да, да.

— Да замолчите вы! — говорит брат Изя.

— Не мешай бабушке смотреть кино, — говорит мама.

— А-а! Она все равно ни черта не видит! — говорит Изя.

— Вот и не мешай ей, — говорит мама.

— Не сердись на него, Дора, — говорит бабушка.

— Усатый достает револьвер, — говорю я.

— Опять? — спрашивает бабушка. — Какой коварный!

Папа бреется на кухне. Он напевает.

— Ты куда, Моня? — говорит мама.

— Есть одно дело.

— Не успел приехать и уже... Посидел бы с детьми.

— Я обещал Ефиму, — говорит папа. — Все ясно?

Он уходит.

Потом по телевизору начинают показывать передачу из клуба. Показывают итальянские моды.

Мама моет посуду.

На экране ходят красивые молодые женщины с большими ногами и высокой грудью. Они ходят по длинному мостику, чуть ниже которого сидят зрители. Я все рассказываю бабушке. Иногда крупно показывают зрителей. Во втором ряду Изя замечает папу и дядю Ефима.

— Бабушка, — говорит Изя, — папу показывают.

— Моню? — спрашивает бабушка. — не может быть!

— Что я, вру, что ли? — говорит Изя, — Папу и дядю Ефима.

— И Ефим там?

— Да. А папа машет тебе рукой, — врет Изя.

— Помаша и ты ему, — говорит бабушка.

Я смотрю на папу. Это вовсе не папа. Это другой мужчина. Он смотрит на длинный мостик, покрытый узким длинным ковром.

— Дора! — кричит бабушка, — Моню показывают!

Мама склоняется к экрану и смотрит некоторое время. Вздохнув, она уходит на кухню домыывать посуду.

— Бабушка, зачем вы ей это сказали? — спрашиваю я.

— А! У мужчин всегда есть дело, — говорит бабушка.

— Тебе нравятся их ноги? — спрашивает у меня Изя.

— Нравятся, — говорю я.

Через час мы ложимся спать. Изя и бабушка Рива засыпают быстро, а я еще часа два лежу и ворочаюсь. В другой комнате мама тоже легла спать. Наконец, в кухне хлопает дверь и мимо меня в другую комнату проходит папа.

Я натягиваю одеяло себе на голову. Зимние каникулы кончились.

1960 г. Ленинград

ИСТОРИЯ

Мальчик Коля захворал. У него был коклюш. Пригласили доктора.

— Помрет, — сказал доктор, — Тьфу.... то есть поправится.

— Доктор, доктор!! — закричала мама, — Неужели наш Коля помрет?

— Нет, нет, успокойтесь, — сказал доктор, — Я оговорился, это один из 362-ой квартиры помрет. Старичок. Я про него подумал. Выше вас этажом.

Мама успокоилась.

— А чем он болен? — спросила она, — Этот, из 362-ой?

— У него коклюш, — сказал доктор.

— Доктор! — закричала мама.

— Тьфу ты, черт! — сказал доктор, — Не коклюш у него, а инфаркт. Ин-фаркт. Понимаете?

— А почему, почему вы сказали «коклюш»?

— «Почему-почему»! Это у вашего мальчика коклюш, мы же про него говорили!

— Как про него? Про этого же, из 362-ой..!

— Ну да. Но у вас-то про вашего мальчика говорили, я спутался.

— Значит, Коля не помрет, доктор?

— Нет-нет, не помрет, успокойтесь, — сказал доктор, — Вот вам рецепт. До свиданья.

— До свиданья, — сказала мама, — До свиданья. Значит, он не помрет.

После этого доктор ушел.

Минут через двадцать в дверь позвонили, и оказалось, что это опять он.

— Это я, — сказал он, — Ну вас к черту! Я галоши у вас оставил.

Мама привела его в прихожую, но галош там не оказалось.

— Извините, — сказал доктор, — Это я, наверное, в другой квартире оставил, по всем ведь квартирам шатаешься.

— Значит, наш Коля не помрет? — еще раз спрашивает мама, провожая его.

— Да ну вас совсем! — плюнул доктор. — Никто не помрет, все живы будете. Больше моего проживете, шатаешься тут с первого этажа на восьмой, и все пешком.

— У нас же лифт, — сказала мама.

— Лифт, — сказал доктор, — Не работает ваш лифт. Лифтер болен. Это тот самый, из 362-ой, который помрет. До свиданья.

Мама закрыла двери. Поправится наш Коля, подумала она, слава тебе, господи.

Минут через двадцать в дверь опять позвонили. Это был папа.

— Какое несчастье, — сказал он, — Доктор умер.

— Доктор! — воскликнула мама.

— Да. Наш участковый. Старенький такой. Я входил в парадную, а он выходил. Я с ним поздоровался, и он вспомнил, что забыл свой футляр от очков в 362-ой квартире. Мы пошли наверх, и на шестом этаже он упал и скончался.

— Какой ужас, — сказала мама.

— Я позвал людей, — продолжал папа, — и какой-то парень взял на себя все хлопоты. Незнакомый парень. Сказал, что собирается работать у нас лифтером.

— Ах вот как? — сказала мама.

— Мама! Папа! Мама! — крикнул Коля, выбегая босиком на кухню, — Доктор забыл у нас футляр от очков!

— Марш в постель! — приказал папа.

— Лифт не работает! — крикнул Коля.

1962 г. Ленинград

*Эльке Эрб
в переводах
Олега Юрьева
и Ольги Мартыновой
при участии Сергея Гладких*

ПЕРЕВОДЫ

Эльке ЭРБ

СТИХИ

Эльке Эрб (р. 1938) — берлинская поэтесса, автор многих книг, лауреат многих литературных премий. В чувстве любви и почитания, каким она на протяжении многих лет окружена в литературной среде Восточной Германии, ничего не изменило и объединение немецких государств. Литературная же репутация Эльке Эрб установилась задолго до этого объединения и действительна «поверх государственных границ», во всем немецкоязычном пространстве. Ее стихи, написанные в версификационной конвенции, совершенно отличной от русской, чрезвычайно сложны для перевода — и не только из-за общетехнического различия конвенций, разделяющего нас (на наш взгляд, скорее к добру, чем к худу) со всем современным западно- и средневропейским стихотворством (что, конечно, не лишает его лучшие образцы собственных достоинств, вполне очевидных при знании соответствующего языка и некоторой доле профессионального бескорытия и культурной терпимости), но и ввиду ее индивидуальных особенностей, скажем, чрезвычайно своенравного, более чем персонального обращения с языком как таковым. Один из ценителей заметил как-то, что Эльке Эрб иногда употребляет общелитературные слова и обороты в каких-то лишь ей известных, но совершенно четких значениях, о которых читатель зачастую может только догадываться.

Мы попытались выбрать несколько, на наш взгляд, наиболее возможных к передаче стихотворений. Общего представления о поэзии Эльке Эрб они, конечно, не дадут, но, несомненно, это все-таки лучше, чем ничего.

Переводчики

О ЗИМЕ

То, что пишешь ты, говорю, это новый край.
Потому что везде оно, вокруг меня, как бескрайний край.
Сравнение-то само напрашивается. Так зачем говорю?
Или это как с охом?

И еще кричит оно, кажется, что зима.
И что новый край, так кричит оно, — это и есть зима.

Студёно? Столбенею, цепенею, оглядываюсь
и все же догадываюсь: значит, это все не

значит: «Новый край — это и есть зима», ну само собой,
но значит: «Зима — это и есть новый край».
(Снег да лед — это и есть зима сама собой).
(Зима — это и есть снег да лед).

Зима — это и есть новый край на краю земли.
Где никаких известий о предыдущем нет,
..., — с иголочки, будто пущен по рельсам, весь
новенький. Как ни разглядывай. А где это так,

отныне, чтобы отныне даже и летом бы...
еще совсем ничего, но отныне уже...
прямо рядом, безгранично неизвестно, сидит (как и до того)
под рельсою накость.

Еще один край, еще и неизвестней того, прямо поблизости.
Еще и новее того, новый край прямо поблизости.
Куда-то затолкан. Заяц в борозду вжался.
И будто бы пущен по рельсам...

Ну, тогда остается пустяк, чтобы и летом тоже...
Ступки толчок. Облегающий тесно башмак.
Затолкан и скошен. Зажат. С иголочки нов.
Зима — это и есть снег да лед.

ВАСИЛЕК, СПОРЫНЬЯ, ДИКИЙ МАК

Душенька, слышала, слышишь
их, своих братьев, своих семерых
лебедей, слышала, слышишь их голоса
пернатые в небе —

трепетали запястья
пастушке на счастье.
Душенька, думала, мне не взойдет
братьев в колосьях, братьев в колосьях

Что ж я не кланялась этим хлебам?
Одервенела.

Камни, разбужены, снова видят.
Рыцари, расколдованы, снова водят
смычками по сломленным клятвам.

УЛЫБКА ЖАЛОСТНА,
как словами лепить неприятное
птица пригвожденная к жердочке черной

слов избегать что не дадут защиты
от того что так скалится за спиною

что эта как и должно быть
в гробу

из опадающего прелью лица
выдвинувшаяся челюсть еще и нежная

улыбка
Птица: как лиственный тлен воздетый наверх.

НЕМНОГО ВРЕМЕНИ

немного резкого пейзажа
вчера по печальным заметкам

(очертания — заиндевелы?)
резкий ветер власти — он

с предметными (заросли?)
кустами в полный рост прикусил

текст вниз до смерти прорезав.
«По-за сердцем» сейчас: чудно!

ОНА И ГОРОД

В Вене на улице она в Вене одна
До предела до беспредельности
Когда в трамвае едет когда в магазин идет
слева и справа со всех сторон в Вене она
лишь при ней происходит Вена.

В городе на улице в Вене только она одна
Голова птицы глаз птицы крыльсв размах
Поле зрения птицы в зеленом поле
когда в Вену выходит раскрывает зонт
всё и верх и низ это тоже всё Вена.

Внучка правнучка школьница
Подросток студентка училка
женщина в возрасте старения мира
когда с друзьями встречается идет на выставку всё одно:
в Вене она смотрит за Веной одна.

В городе на улице почти всегда в Вене она.
А в Вене она только самое сжатое
самое в очертании уточненное
когда ходит по этой самой Вене она
когда выслеживает Венское-в-Вене.

Венедикт Ерофеев

XXX ЛЕТ

Венедикт Ерофеев

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК ЗА 1982 г. *

24/III — <...>

У меня не только зубы должны быть золотые, я должен и в носопыру свою вставить по золотой сопельке.

(Я еще не окончателен и обжалованию подлежу).

А я меж этими двумя высокогрудыми куропатками — как буриданов осел.

Народ: Не было хорошей жизни — и не хуя ее начинать.

Народ: Праздник сегодня. 250 лет граненому стакану.

в опочивальню можешь меня и не впускать, но хоть в свой «будуар благоуханный».

Мы очень разных воззрений люди, но таким образом, что меж нами ничто не рождает споров, да и к размышлениям не влечет.

31/III — С утра Г. подносит в постель бокал портвейна. В поисках его — обнаруживаю еще одну — непочатую. Значит, куплено две — сегодня день Мазурского, и начинаю понимать, к чему это

* Публикация Сергея Гладких. — Подготовка к печати и выбор записей произведены редакцией. Исходя из особенностей нашего издания (литературного, а не литературоведческого), мы позволили себе, в разрез с принятой текстологической практикой, последовательно произвести развертку очевидных авторских сокращений (кроме общепринятых на письме, как «пр.», «т.е.» и т.д., а также инициалов близких автору людей), которая в дальнейшем тексте специально не оговаривается.

Редакция

все. Продолжаю пить. Появление Лёна с машиной. Увод. Почти санкционированное мною это всё. Приемный покой. Опять 1-е отделение. Элла Петровна. 2 укола. И опять 1-я палата.

И опять Элла Петровна, моя реаниматушка.

Надо как-нибудь съездить в Петушковский район с чемоданчиком бацилл ящюра и вирусов свиной чумы.

И ты забыл ее, сука, в шуме своих сатурналий!

И ввек не сидеть тебе, подлец, с чашею фалерна.

А врач меня спрашивает: «Чем вы объясните ваше хуевое состояние?»

Это только слухи, не надо их муссировать.

Значит, приблизительно, пересекая речку Кемь, мы попадаем из Калевалы в Похволу.

И гори все синим огнем!

В англо-аргентинском конфликте госсекретарь Александр Хейг — «не ангел мира, а эмиссар военных транснациональных корпораций».

Приходится запоминать еще одну латиноамериканскую фамилию (после всех этих Аугусто Сандино, Сомоса, Фарабундо Марти и пр.) — аргентинский президент Леопольдо Гальтиери.

Меня отсюда выпустят, я думаю, точно в тот день, когда британская эскадра подойдет к аргентинским берегам (т.е., по расчетам Маргарет Тэтчер, 14-15 апреля). К вопросу о конфликте вокруг Фолклендских островов.

Наблюдаю в окошко, как нехорошо ведут себя сороки в талых снегах.

И все б ничего, но вот уже неделя как здесь — а сохраняется (при чтении любого текста) то ли височная, то ли просто глазная, то ли внутричерепная преграда, Напряженное скудоумие, если даже иметь дело с пресными балладами Ап. Майкова.

Один: почему такой слабый свет в ванной?

Ничего не видеть. Везде 220 вольт, а тут ввинтили на 127.

6-7-8 уже совсем весна. Почки у кого-то, божьи коровки, мать-мачехи, солнце, и все такое. 9-го больше ветра, чем солнца. А 10-го снега больше, чем солнца и ветров.

1/IV — Первое утро в 1-й палате 1-го отделения. Самый траурный и дрожащий день. Ни крохи пицци. Баррели холодной воды. Под капельницей — пришедшую в это время Г. не допускают. За окнами — чуть снег и почти зима.

3/IV — Еще одно тяжелое пробуждение. Весь день солнце, томлюсь и таращу глаза из окна ванной на кучку каких-то высыпавших вчера цветов. 9°. Вечером — пляшет мошкара. Ем вдвое больше вчерашнего, но все с тошнотой. День без всяких процедур. Первые гости — Г. Нос. и С. Делоне. Теперь и при часах и в новых штанах.

4/IV — Слишком медлительно идет облегчение. Обещали +11 +13°, однако без солнца. Впервые съедаю без остатка все завтраки, обеды и ужины. И уже с карандашиком. Кроссворды и пр.

5/IV — Начало вербной недели. Смурно за окнами и с чем-то вроде снега. Из-за решетки наблюдаю таяния остатков. Гостя Г.Нос. Теперь у меня набор ручек, блокнотики, Майков.

6/IV — Еще лучше. Весь день в солнце, и я впервые на дворе —

малые уборочные работы, костры, сибаритство на солнце, работы в оранжерее. Гости: Г. и Тимак. Вечером — звоню Р. о своем status quo. Хорошо.

7/IV — Ровно, солнечно, все те же процедуры и таблетки, те же работы по уборке территории, костры. Без гостей.

8/IV — Совершенно спокоен и волен. Снова костры на территории. Костры у входа в клинику, мать-мачеха, в гостях Г.Нос. и Элла о всеобщих симпатиях, — превосходно. Солнце.

Сонный и слюнявый малый из 1-го отделения пишет письмо в Московский районный суд Киевского района. Начинается так: «Я родился в самый разгар голодовки 1933 года...»

И уже ненасытный аппетит, как у Пентагона.

Предстоит единственное лето, в которое я не поеду «на хутор бабочек ловить».

Больной сидит, задумчиво и постоянно повторяет: «Четыре девочки, два пасморка и один люис. Четыре девочки...» и т.д.

Крохотный юный еврейчик в палате: Данила Львович.

И Маяковского я знаю наизусть больше, чем Пушкина.

В апреле шумно отмечают 250-летие добровольного присоединения Казахстана к России. Добровольное даже произносят курсивом. Значит, Анна Иоанновна. Лёне от Анюты.

Мою частушку «уходи, родной, в запой, издыхай, мой миленькой», Г. заканчивает так: «Коль не хочешь быть со мной под березой синенькой».

11/IV — спокоен, как пульс покойника. В восторге от Калевалы, мудр, бодр, восприимчив и неутомим. Дожди. Без гостей.

12/IV — решаюсь проситься на волю — согласие Эллы — лучезарен. Гости: Г.Нос. и Ю.Гуд. Г.Нос. и Элла затемняют все. Весь вечер в раздражении ожидаю завтрашнего решения.

13/IV — Весь день ожидаю. Страстной вторник. И третий день с дождями. Но никакого Мазурского так и нет. Все откладываем до завтра. Г.Нос. в гостях, рассеиваюсь.

14/IV — Страстная среда. И опять нервичен. Опять ожидание. Мазурский и выходы. Наконец беседа и отпуск на свободу — но оттяжка до завтра, по вине одежки. Седуксен спасает. Дождь хлещет весь вечер.

15/IV — <...>

заметный рост банкротских настроений

Почему я такой большой дядя, а веду себя, как маленькая тетя?

По поводу Эллы и ее «молочных глаз». Может быть, я до сих пор все вижу вверх ногами перевернутым?

В день космонавтики поют на слова Слободского «Присядем, друзья, перед дальней дорогой...» И нет Войновича «Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом».

(о Гумилеве. Почему нельзя? Ср. ежедневное пение расстрелянного Корнилова «Нас утро встречает прохладой»).

порасторопнее выйти из положения
душа, захлавленная дребеденью

любовь к несуразности.

Химки-Ховрино некоторые в Москве называют: Ханки-Мымрино.

Надо так: Элле Петровне, обаятельнейшей женщине и первоклассному психиатру (в надежде, однако, никогда уже более не быть ее пациентом).

О ночь мечты волшебной,
Комсорги без конца!

Я был белее облаков — стал синее индиго.

Кобяков сообщает по телефону: был в Ленинграде. Некрополь Александро-Невской Лавры «закрыт на просушку». «Усыпальницы деятелей искусств также закрыты на просушку». Говорю: ты отнес это на свой счет?

Как подошла бы президенту фамилия: Пном Пень.

«галльская закваска» и «неовольтерьянство».

слишком «ангажирован»

19 апр. — Слишком много читаю, подлежащего возврату. Телефонный разговор с Седаковой — утверждаюсь в решении поступать на курсы. Прогулка к левобережью — по Москва-реке. Первая весенняя прогулка. Славно.

21 апр. — И потихоньку начинаю германский. Начинаются дни без солнца. Сквозь дождь и снег — пешком в ФИАН на концерт — Брамс, Леонтович, Арбузова — впервые в апреле к Р. — всего полтора часа — отчужденности, настороженности. «Ну их совсем».

Я слишком прав, я ультраправ.

И глядеть на это безлюбобно
Вот ведь как случается
В жизни иногда.

Оставленность русские выражают вот какой формулой:
Кошка бросила котят,
Пусть ебутся, как хотят.

А Бог теперь только тем и занят, что метит всяких шельм.

О Зайцеве. В кампании. «Пардон, мадам, я пошел поссать».
Возвратившись, публично рассматривает свои штаны: «Пардон,
мадам, я немножко обоссался».

Газеты первых чисел мая о южно-атлантических притязаниях и
колониальных амбициях кабинета Тэтчер.

«растворение в стихиях» и «приобщение к запредельному».

«их природная убогость, серость, антиперсональность...»

Ровно 600 лет строили Кельнский собор.

О должности антропофага. Копрофагия. Меня хотят понизить в
копрофаги.

Человеческий организм на 71% состоит из воды.

За сутки человек выделяет полтора литра мочи.

Со 2-го апреля ожидаем англо-аргентинской стычки. Следим
за армадой. И вот — сообщение 22/IV: инцидент с аргентинским
БОИНГ-77 с английским Харриером с ракетами на борту.

Как ожидают 23/IV прибытия армады к Мальвинам, так ожидают
и еврейско-ливанской войны до 25/IV.

И дождались начала: 25/IV британские вертолеты обстреляли аргентинскую подводную лодку. Начинается перестрелка британских судов с аргентинскими частями острова Юж. Георгия.

Весь май краем уха наблюдаю за осторожным штурмом Фолклендских островов. И бомбардировочными приготовлениями Бегина-Шарона.

Я не из тех, кто занят «активным поиском зрительной информации».

Я гляжу в буфет,
Ничего в нем нет,
А я все гляжу,
Глаз не отвожу.

«в ней есть над чем содрогнуться».

«хорошо организованный мир потребностей и поползновений».

Каждую неделю — в кругах столичных фармазонов.

От окна Ростовой Наташи — до окон РОСТА.

«В начале было То,
За чем в карман не лезут»
(Иоанн Богослов)

«в этом не было ничего вразумительного и вдохновляющего».

непостижимость для нее слов типа «удрученность», «раздавленность», «потерянность», — «кручина» и пр.

Сахар и проще, и нужней, и приятнее. Ср. сахар — $C_{10}H_{22}O_{11}$.
А сахарины сложней и отвратительней (и пагубнее). Сахарин:

дигидрат-натрий-амид сульфобензойной кислоты.

Я — все просто. А ты накаляешься, как обстановка в Ливане.

Лозунги противников в 18 г.: «Позор кучке авантюристов, вовлекших народы российской империи в кровавый эксперимент!»

Абстыга — экзистяга — астралка.

Вошел в строй новый спортивный комплекс в Талды-Кургане.

По утрам он вставал, как проклятем заклеянный. Он подымался, как доход на душу населения.

«сквозь них просвечивает вечность».

2 мая — Все столичное бросаю: за полдень, шлепнув сухого, еду в Малоярославец. Дожди и ливни. Я — попадаю к их концу. Мария Мих. Трехчасовая прогулка по р. Луже: первые кукушки, медуницы, рыбаки, кладбище. Валюсь с ног.

3 мая — В Малоярославце. Безустально колю дрова. Газеты и мелкие дожди вместо пива. Выкорчевываю высокие щавеля. Елизавета Шаховская. Солнечный вечер: прогулка по южному маршруту — в грязи по окраине — вниз по течению Карижки, притока Лужи — монумент Радищеву. Уже не валюсь с ног.

1/V — Наконец сообщили об английской бомбардировке Порт-Стенли (Пуэрто-Аргентино), о воздушном бое и двух сбитых английских самолетах.

4/V — Все толки о потопленном 2/I аргентинском крейсере с 1040 ч. на борту.

5/V — И о торпедо и затонувшем лучшем эсминце британского

флота.

10-11/V — Все по поводу потопления британцами аргентинского невинного судна и «хладнокровного расстрела с воздуха спасающихся на шлюпках». Все утопли.

Они, в отличие от нас, неэгоистичны. За всю жизнь о себе (von mir) могут ни разу и не вспомнить, т.е. до конца растворены в службах, домино, пассатиджах etc.

щеки стали у меня раздаваться, как топоры дровосеков.

В джунглях Новой Гвинеи свирепствует ужасная болезнь «куру», т.е. «смеющаяся смерть». Что является причиной заболевания, в каких районах мозга локализуется паталогический очаг, неизвестно. Болезнь поражает только детей и женщин. Она начинается с прогрессирующего ослабления организма, потом паралич и судороги мышц лица, заканчивающиеся смертью больного. При этом на лице его застывает маска смеха.

В начале века Рильке очень нравится Россия и русские. «Народ этот не делает жизни, — он лишь мудрым, спокойным взором созерцает ее медлительное течение».

Наглец Рильке: «Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?»

Любопытно: славный римский аэропорт — имени Леонардо да Винчи. А наш ленинградский театр оперы и балеты — имени Кирова.

А Ильич говорил: «успех не может быть достигнут лишь вдохновением отдельного порыва».

И все это пиитическое произведение, разбухшее, нездоровое, несвоевременное, — сравнить даже не с чем. Разве что с флюсом

* Боже, что ты будешь делать, когда я умру (нем.)

Николая Первого в злосчастный день коронации, или со щитовидкой Надежды Крупской.

Лучшее из всего, что мы заимствовали у Византии — эмблема двуглавого орла (Иоанн III).

И носит штаны из какой-то высокоорганизованной материи.

Они вот кто: головоногие моллюски.

А это про меня: «Как известно, рептилии (пресмыкающиеся) не проявляют особого интереса к судьбам своего потомства».

Нужно иметь талант в поисках утешений. На дворе если 15° , слюнявый пессимист скажет: 12° по Реомюру. А вот я наоборот: 26° по Фаренгейту. Больше того: 288° по Кельвину.

4/V — Малоярославец. Малая прогулка по городу. Последние копания в земле. Прощанис — сду на 16.01. Чрезвычайно мило. Дома в 7 веч.

Истосковавшийся по телевизору, смотрю «Освобождение» и аргентинские новости.

Примерно так же, как Ильич любил песни Монтегюса.

Иоганн Кеплер: «Правда вселенной, которую я отверг и рассеял по ветру, возвратилась ко мне с другой стороны».

И я ведь тоже склонен к аутизму.

Так начинают. Года в два

От мамки рвутся в тьму мелодий.

Так провожают пароходы,

Совсем не так, как поезда.

У тебя, сука, как у пташки крылья, тебя нельзя никак поймать.

Несовершеннолетний возраст.

О Тих.: «А духовных запросов?» — До хуя и больше. «А святых порывов?» — До Ленинграда раком не переставить.

— О Тих. лучше всего у Брема: «Он кучеряв, как... Но в остальном спаниель — собака с крепким сухим телосложением. Голова у него легкая и сухая, с плавным переходом ото лба к морде.» И т.д.

Все испанские города, которые он знает — Малага, Мадера и Херес. А Мадрид выдумали Илья Эренбург и Матэ Залка. Не было никакого Мадрида и нсту.

Даже Аристотель считал мозг всего лишь большой железой, предназначенной для охлаждения крови.

Гарибальди (молодой), изгнанный из Италии, плывет в Западное полушарие, «чтобы очистить от скверны латиноамериканских президентов».

говоря языком спортивных обозревателей, быть одновременно и стайером и спринтером.

Девушки должны собирать цветы, это вырабатывает в них навык низко нагибаться.

Потроха вдов и сопля сирот.

И как жаль, что у нее только две коленки!

И совсем фрицы не изначально изверги.

У русских: он спит, как убитый.

У них: er schläft, wie ein Sack.

(т.е. как мешок).

Национальный фронт Стойкости и Противодействия: Алжир, ООП, Сирия, Ливия, Южный Йемен.

Теперь. Говорят восторженно: «Ну-у, такое я им рассказала, что они ссали кипятком!»

Или: «Усраться и не жить!» (тоже восторженно).

О музыкальных вкусах. О христианстве еще можно спорить. А вот о духовом оркестре спорить нечего. Он чисто духовен.

Она выковыряла меня на свет, как козявку из носа, но я уже не тот, я взлезал на нее как невольник.

Кто твой самый любимый певец? — Демьян Бедный, «певец пролетарской революции».

Даже в аэропортовых поцелуях Андрея Громыко с Вилли Штофом больше чувства, чем вот в этом.

и немножко лопухости не повредит

Как ценность мою измерить в каратах?

И я «могу твердо рассчитывать на своего стратегического союзника».

Так что к вечеру я состояла уже из одной протоплазмы.

Веселый человек Альфредо Стресснер, диктатор Парагвая. Он планирует создать городок «свергнутых президентов». Бокасса. Сомоса. Иди Амин.

И что нас сравнивать. Н. Фролова родилась в день рождения футбола (26 окт. 1863 г.), а я в день рождения ООН.

Выпив 3 бутылки бормотухи и засышая: «Набальзамируйте мой прах».

13/V — Утро на балконе пр. Вернадского. Обычно. Еду к себе — по пути два пива — отлично. Додремываю. С немецким словарем и Л.Б.Каменевым о Чернышевском. Запоздало ложусь спать. Прекрасно.

19/V — Дожди и дожди. Подвижен до предела. По вызову в диспансер — Гимерверт. Прекрасно. Фотографии. Дома. Снова в путь — на Дорогомилловскую, нахрапом сдаю немецкий экзамен. Возвращение в восторге — чокаемся сухим, по случаю сегодняшней победы.

Зачем вы мне мешаєте нормально развиваться?

Я, если заглянуть мне вовнутрь, напичкан экстравагантностями, но чудакoм меня никто не назовет.

Изо всех кислот мира мне больше всего нравится барбитуровая.

Ну, зачем тебе это? Ведь существуют целых три способа бесполого размножения: простое деление, почкование и спорообразование.

О спаривании пауков: «чревато опасными последствиями. Самец-паук осторожно подкрадывается к самке, потому что если она успеет его увидеть, то непременно набросится и съест. Зато после спаривания ускользнуть уж невозможно, паучиха непременно закусит своим супругом.

Не удивительно, что у южных пауков количество самцов в десятки и сотни раз превышает число самок. Лишь в такой массе найдется достаточное количество безрассудных, отваживающихся вступить в брак».

Престиж надо блюсти. Реноме, т.е.

Два приятеля Тихонова из ЖКО: Мишка Ссаный и Васька Говнодав. Пашка подонок. Эпопея с пропитчиками. «Да, там у нас, на чердаке, немножко прохладнее, чем на о-ве Бахрейн. Посмотрите

хотя бы на мои сопли».

В детстве он больше всего любил игру в короля-принца-засерю-подчищалу.

А. Ривин

**ЛЕНИНГРАДСКАЯ
АНТОЛОГИЯ**

А. Ривин

* * *

Вот придет война большая,
заберемся мы в подвал,
тишину с душой мешая,
ляжем на пол наповал.

Мне, безрукому, остаться
с пацанами суждено
и под бомбами шататься
мне на хронику в кино.

Кто скитался по Мильенке,
жрал дарма а ля фуршет,
до сих пор мы все ребенки,
тот же шкиндлик, тот же шкет.

Как чайнки, выются годы,
смерть поднимется со дна.
Ты, как я, — дитя природы
и беспечен, как она,

рослый тополь в чистом поле,
что ты знаешь о войне?
Нашей общей кровью полит,
ты порубан на земле.

Как тебя в широком поле
поцелует пуля в лоб.
Ветер грех ее замолит,
отпоет воздушный поп.

Труп твой в гроб уже забрали,
ох, я мертвых не бужу,
только страшно мне в подвале —
я еще живой сижу.

Сева, Сева, милый Сева,
сиволапая семья...
Трупы справа, трупы слева,
сверху ворон, снизу я.

1939

Георгий Владимов
Вячеслав Белков
Дмитрий Закс

ОЧЕРКИ
ЗАТОНУВШЕГО МИРА

ДОЛОГ ПУТЬ ДО ТИППЕРЭРИ*

Пассажиры в электричках, спешащие к петергофским фонтанам, уже заранее вертят головы направо, в сторону привокзальной площади с автобусными стоянками. Если б они вертели налево, они бы увидели наше училище. Как раз при начале торможения, шагов за 700-800 до платформы, вдруг вырастает посреди поля приземистый городок, распланированный немудряще и строго, мелькают пересечения улиц и переулков, мрачные строения тюремного тёмно-вишнёвого кирпича: в два этажа — офицерские коммуналки, именовавшиеся «коттеджами», в три — наши казармы, и только учебный корпус, он же главный, четырёхэтажен и выкрашен в колер светло-салатный. Из электрички он виден краешком, его заслоняет клуб, поднятый из руин уже после моего выпуска, но я отчётливо вижу посыпанный жёлтым песком плац перед его крыльцом, небольшой, для построения одной роты; там мы, прощаясь с училищем, подходили по одному к наклонённому знамени и, преклонив колено, целовали обшитый золотой тесьмой угол кумача; вижу в середине плаца огромный валун красного гранита и на нём серый бетонный четырёх-гранный обелиск — надпись на чёрной чугунной плите сообщает, кем и кому этот памятник поставлен: «Каспийцы — товарищам, павшим в войну 1904-1905 годов», стало быть, в японскую, с Цусимой и «Варягом», — но кто были эти «каспийцы», мы никогда не узнали и никто нам не рассказал. На верхушке обелиска сохранились чёрные когти — не иначе, от двуглавого орла, сшибленного красно-гвардейским прикладом в 1917-ом. А весь этот городок, с его

* Отрывок из одноименной книги

улицами, переулками, казармами, «коттеджами», складами и гаражами, спланировал и построил, гласит предание, не кто иной, как маршал Маннергейм — в бытность свою генерал-лейтенантом на русской службе, — тот самый Карл Густав Эмиль Маннергейм, который впоследствии построил на Карельском перешейке оборонительную «линию Маннергейма», взятую дважды нашими войсками в обмен на немыслимое количество жизней, тот самый главнокомандующий финской армией, который в двух войнах сражался против нас так упорно и яростно, что удостоился от своего народа поста президента, а от нас, посрамлённых, высшего военного ордена — «Победа». Последнее, между прочим, говорит о том, что всякое сопротивление в принципе бесполезно и что Вождь народов не такуныло-догматично относился к завету великого пролетарского гуманиста уничтожать врага, который не сдаётся. Бывает, его за это приходится награждать.

В моё время городок был весь огорожен колючей проволокой, со стороны поездов замаскированной густым и тоже колючим кустарником; со стороны же, обращённой к Ленинграду, неподалёку от угла, стояли проволочные ворота, то есть дощатые рамы, скреплённые диагональными укосинами и оплетённые колючкой. У нас они звались — «Комсомольские ворота» и через них мы уходили в «самоволку». Никогда я не видел эти ворота открытыми и чтобы в них что-нибудь въезжало, но не зарастала к ним суворовская тропа и не зарастала дыра в проволочных сплетениях, как её ни заделывали дядьки-сержанты из комендантского взвода по указаниям усатого капитана Григорьева.

Еле проглядывались из электричек главный плац — для общеучилищных построений и строевой подготовки — и огромный бутристый, с вытопанной травой, пустырь, на котором разместились качели, «гигантские шаги» и стоял трофейный танк Т-III, на миг промелькивавший между кустов своим тёмно-зелёным корпусом и длинной, отвёрнутой в сторону, пушкой. Лишённый хода, он ещё войдёт в наше повествование, покамест же уместно вспомнить, каким подспорьем он был для наших неисправимых курильщиков. Они могли спрятаться внутри, а дым выдыхать чрез пушку — из дульного

среза он вытекал едва заметно. Капитан Григорьев, который всё на свете замечал, всё же не мог подкрасться к ним, учитывая круговой обзор из верхней смотровой турели. В конце концов он приказал танк отбуксировать в конюшенный сеной склад и запер на замок. Считать ли это его победой или поражением в нескончаемой войне с «курцами»? Этот капитан, ретивейший служака из украинцев, невзирая на русскую фамилию, был грозой нашей и вечным неприятелем; два фронтовых ранения и контузия не помешали ему сделаться адресатом кровожадной частушки:

Смерть немецким оккупантам
И усатым комендантам!

Гордый этот призыв непокорённых украшал стены карцеров снаружи и сортиров — изнутри. В карцерах капитан Григорьев содержал нас в режиме строжайшем, а сортиры заставлял чистить до зеркального блеска, ставя порою задачу изначально невыполнимую и даже малопонятную: «Чтоб вы в очко себя увидели!» И всерьёз обсуждались замыслы: не ограничься частушкой, подорвать усатого коменданта каким-нибудь немецким боеприпасом, каких довольно тогда поваливалось в окрестных лесах, да хоть трассирующим снарядиком от малой зенитки. Однажды некая фиговина выкатилась ему под ноги, крутясь и шипя, в облачке молочно-зелёного дыма, но остановилась и смолкла, что-то в ней не сработало. Всё же капитану Григорьеву пришлось показать нам, как быстро залегают фронтовики.

...Ах, всё и так сбылось. И нет теперь ни «Комсомольских ворот», ни всей колючей ограды, ни карцеров (где бы я, пожалуй, теперь не отказался и посидеть с полсутки), как ничего военного не осталось во всём городке после расформирования училища. Какое-то время здесь помещался детский приют с фабрично-заводским обучением, попозже — сельскохозяйственный техникум, сейчас — не знаю что. Я посетил городок за две недели до эмиграции, бродил по всей территории — и не определил, какое учреждение и вообще человеческое устройство здесь обосновалось. Лишь на одном угловом

строении обнаружил синюю табличку с белой надписью: «Переулок Суво-ровцев». Именно так, с прописной. Единственное, что осталось от нас. А была целая страна, ограниченная квадратом подобно римскому лагерю и канувшая в небытие, как Атлантида на дно океана, — с той разницей, что дома-то остались, только душа исчезла, — невозвратимая страна Кадетия...

В этой стране закончились мои странствия военных лет, начавшиеся на Южном вокзале родного Харькова за месяц до его оккупации и пролётшие через тысячи вёрст, с недолгими остановками в киргизском селе Чалдовар, в Саратове и напоследок в Кутаиси, где поздней осенью 1943-го года 12-летний мальчик надел чёрную униформу с голубыми погонами и повторил в общем строю за начальником училища полковником Гурьевым воинскую присягу, фрагментами и до сих пор памятную. За годы войны он потерял отца, стигнувшего в немецком концлагере близ города Шнайдемюль, вытянулся в росте и, помимо всей школьной премудрости, обучился многим полезным вещам, которые, правда, ещё ни разу ему не понадобились: окапываться лёжа, стрелять из боевой винтовки и пистолета «ТТ», бросать гранату-«лимонку» и протыкать соломенного «фрица» штыковыми уколами — длинным, средним и коротким. За оставшиеся до выпуска два года ему предстояло ещё научиться седлать коня, скакать на нём «аллюром три креста» и рубить лозу по верхушкам, не отсекая при этом лошадиное ухо. Впрочем, эти подробности мало что прибавляют повествованию и, может быть, даже мешают должным образом оценить главное приобретение мальчика: из своих странствий он возвратился с девочкой.

Это буквально так: мы приехали вместе в одном вагоне воинского эшелона и затем в одном кузове «студебеккера», когда передислоцировались офицерские семьи из солнечной Грузии в сыростный Новый Петергоф, только что, после победы над немцами, переименованный в Петродворец. По соображениям высших сил, для меня и сейчас неясным, утрачивало и наше училище название «Кутаисское» и передислоцировалось в Ленинградский военный округ, приобретая и название соответствующее. Передислокация происходила в июле, когда мои однокашники разъехались на каникулы, из кадет в эше-

лоне оказался я один, поскольку был сыном мамы-офицера с капитанскими погонами, преподавательницы русского языка и литературы. Девочка оказалась в эшелоне по сходной причине.

Но может быть, лучше со слухов начать, которые так стремительно распространились ещё там, в Кутаиси, прокатились по училищу с неубывающим грохотом от старших рот к младшим и прямо-таки всколыхнули наш — не сказать унылый, но приевшийся — замкнутый быт: слухов о том, что появилась *дочка англичанки*. Так суждено ей было врезаться в моё воображение, под этим прозвищем, что уже заочно ей сообщало несомненную красоту и дарило симпатии. Как было бы, окажись она *дочкою немки*, то есть преподавательницы немецкого, даже думать не хочется, чтоб не спугнуть тогдашнее неизъяснимое очарование этих слов — «дочка англичанки». От самого имени наших английских союзников исходило тёплое сияние, даже лучистее, нежели от американцев. У тех союзничество выражалось в сугубо материальном, в наших «виллисах», «фордах» и «студебеккерах», в мясной тушёнке, в диагональном сукне наших гимнастёрки; обаяние же англичан было пусть бестелесное, но волнующее, ему сопутствовали песенки — «Ла-Манш в ночном тумане спит» или «Нашёл я чудный кабачок» или старинная, времён ещё Первой мировой войны, «It's a long way to Tipperary» — и, когда под эти мотивы они так сноровисто и весело карабкались на утёсы Нормандии — с засученными рукавами, в своих легкомысленных неглубоких касках — сердце томилось от зависти, от гордости и тревоги за прекрасных, ловких и храбрых «Томми». И облако симпатии, окутывавшее их, переносилось и окутывало почти любовно и «дочку англичанки», и саму «англичанку», — как выяснилось впоследствии, сроду не видевших ни Ла-Манша, ни Типперэри, ни пяди таинственных и суровых берегов Британии.

Ещё, помнится, было у *дочки* и другое прозвище, сильно интригующее юные души, которые себя готовят к увлекательной охоте на людей: «дочка шпионки». Возникло и прокатилось от всегда-всё-раньше-всех-знающих, что её мать («между прочим, тоже ничего, красуля, хотя старушка, тридцать семь уже») была нашей крупной агенткой, потому и английский знает, как Бог. Вскоре же она, как

водится, и кличку получила: «Спру». Но было и замешательство: где же она шпионила, у немцев? Так ведь немецкого же она не знает. Нет, у англичан, но ещё до войны, когда они ещё не были нашими союзниками. В 15 лет легко верится, что против союзников не шпионят, а новые сведения ещё прибавили *дочке* роковой прелести. Может быть, думалось, и она там, в Британии, вместе с матерью выполняла *какое-нибудь задание*. Нет, донеслось из выпускной роты, от кадет, уже удостоившихся общения, английской дочка не знает — ни слова. Но и мы, помладше, были не лыком шиты: быть этого не может, скрывает зачем-то...

Всё нанизывалось, всё способствовало, чтобы это о ней, роковой и ещё мало кем виденной, пели наезжавшие к нам эстрадники:

Пятой роте сегодня ты ночью приснилась,
А рота шестая заснуть не могла...

И однажды мы все её увидели. Она вошла в наш маленький кинозал перед самым началом сеанса — то ли «Воздушного извозчика», то ли «Небесного тихохода», что-то, в общем, про лётчиков было, и значит, безумно интересное, — вошла стремительно, кем-то заслоняемая, почти за мгновение перед тем как погас свет, и опустилась где-то в середине на охраняемое для неё место. Из дальнего моего ряда я не успел её рассмотреть, только меж чьими-то головами промелькнули тёмные волосы и что-то в них красное — бант или надетый набекрень беретик? Этого «Извозчика» или «Тихохода» я уже смотрел без всякого интереса, насилу дождался конца, но когда зажгётся свет, ничего было не рассмотреть, так плотно её обступили. Мы бы выйти ещё в темноте и подождать у дверей...

Но вот, по прошествии недели, в последних днях мая, когда уже начались экзамены, я её увидел близко — и узнал сразу, понял, что это она, о которой столько говорилось. Под высокими окнами бывшего губернского суда, где разместилось наше училище, по расплывшимся плитам тротуара из светло-бежевого ноздреватого камня, она шла прямо навстречу мне, глядя слегка насмешливо и надменно, сопровождаемая целой свитой, эскортом из пяти-шести старших ка-

дет, завтрашних выпускников.

За все десять лет, что мы что-то значили друг для друга, ни разу я не видел, чтобы она покрыла голову чем-нибудь красным, и то, что так ярко-ало полыхнуло мне в глаза от темно-русых её волос, я готов отнести к области ослепления, посчитать за солнечный удар, — что, впрочем, было бы и не удивительно в жаркий полдень грузинского позднего мая. Но в таком случае — как бы я смог с такой пронзительной, режущей ясностью воспринять и запомнить каждую из тех секунд, откуда мы сближались? Я и сегодня так же отчётливо вижу её, идущую по бежевым поздраватым, неровно улёгшимся плитам, далеко не доставая своим красным бантом или беретиком до высоких подоконников огромных зеркальных окон Кутаисского губернского суда, нависшего над Риони, — наверно, лучшего здания в городе, которое шеф наш и покровитель Лаврентий Павлович Берия самолично отвёл для «своих волчат», — и что-то уныло сжимается во мне, и я вновь ощущаю тот, может быть, первый в жизни укол в сердце — от сознания её недостигаемости, от того, что не ко мне она идёт и никогда идти не будет, а лишь случайно направляется в мою сторону, едва ли вбирая в свой насмешливо-падменный взор то, что возникло вдруг на её пути. Её глазами я вижу нескладного узкоплечего подростка, изрядно лопухого, что ещё усугубляла стрижка «под ноль», притом в затрапезной гимнастёрке, не чёрной и не белой, а цвета хаки, и таких же брюках, пузырящихся на коленях и не достигающих верха ботинок. Какой злой чорт сподобил меня впервые предстать перед нею в хлопчатобумажной робе, предназначенной для полевых учений, всяких там переползаний и окапываний, а ещё для отбывания нарядов на кухне и по чистке нужников! В город нас в такой робе не выпускали, и в день воскресный так мог быть одет наказанный, лишённый увольнения, — чего на самом деле не было, просто в этом желто-зелёном «хэбэ» удобнее было валяться на травке, готовясь к экзаменам. Но кто же это ей объяснил бы, коли б она спросила, что за чучело перед нею? А впрочем, она так занята была собою, так поглощена своим 15-летним могуществом, что вряд ли и спутникам своим уделяла должное внимание. А из них каждый был на голову меня выше, отрастил уже

порядочную причёску, разрешённую в предвыпускной год, и всем видом являл шедевр кадетского шика.

У меня не будет лучшего случая объяснить, каким же таким особенным шиком мог отличаться кто-нибудь из нас, одетых в одинаковую униформу, от которой мы отступить не могли, хотя бы две пуговицы на вороте иметь расстёгнутыми, чтоб не нарваться на замечание. Но может статься, и нужен одинаковый старт, чтобы тем разительнее отличиться на финише. А возможности были тут безграничные. Начать с фуражки, в которой можно удовольствоваться плоским эбонитовым обручем, распирающим тулью, а можно заправить туда стальную проволоку, отчего края тульи приобретали остроту режущего предмета. Белый подворотничок подшивали кто сатиновый, а кто из жёсткой гуттаперчи, который стирать не нужно, однако пижоны истинные предпочитали из блестящего жемчужного парашютного шёлка, притом выпуская чуть не на сантиметр, наподобие флотского шарфика. А скажете, с погонями ничего не придумать? Вставить, к примеру, целлулоидные пластинки, чтоб они не топорщились и при пожатии плечами изгибались дужками; литеры «Кт» на них, означавшие попросту «Кутаиси», могли быть нанесены краской — не столь золотистой, сколь говнистой, — а могли быть вырезаны из латунной жести и надраены до солнечного сияния. На специальных фанерках с прорезью надраивались зубным порошком пуговицы и уже без всяких приспособлений, а только сизифовым старанием, бляха ремня. Ремень же был носим расслабленным, так что он покидал своё обычное место на талии и приопускался к чреслам. Низ гимнастёрки, обрезанной так, что она едва из-под ремня выглядывала, следовало понимать в ансамбле — с плотно обтянутой ляжкой и с клёшем, начинающимся от колена и столь развитым книзу, что уже безразлично было, как выглядит ботинок и вообще надет ли он: расклёшенная брючина покрывала его с двойным запасом и, ниспадая ещё ниже, подметала пол или тротуар. Некоторые даже предпочитали спортивные тапочки — при шаге почти бесшумном особенно слышен был волнующий благородный шелест. Снизу — от истирания — подшивалась чёрная кожа от старых ботинок, а для тяжести — шарики из подшипника. Теперь, я надеюсь, читатель уяс-

нил себе хоть отчасти, какое же унылое безобразие было в тот день на мне!

Не избегну ещё сказать об этих клёсах, вожделенной мечте многих, но доступной только натурам героического склада. Они считались всё же нарушением формы и преследовались неумолимо. Уже замечено в истории, что борьба консервативного и новаторского начал, называемая зачастую конфликтом отцов и детей, никак не обходит стороной длину юбок и ширину брюк. И, как в годы пятидесятые сражалась молодость, не желавшая себя втискивать в предписанный ранжир, за брюки узкие, за «дудочки», так в «роковые сороковые» в стране Кадетии бились лучшие её сыны за максимальную их ширину. Откуда бралась эта ширина, легко сообразит читатель, не забывший про обрезанную гимнастёрку. Вшитые клинья, обнаруженные на утренних осмотрах, злодейски надрезались ножницами, после чего оставалось только выпороть их и вернуться к ширине изначальной. Но билась, не смиряясь, творческая мысль — и породила клинья фанерные, то есть — говоря языком строгой геометрии — трапеции, но сохраню для простоты изложения их обиходное название «клинья». Обильно увлажнённые штанины натягивались на них, сколько хватало сил, укладывались под матрас и придавливались телом владельца. Иные страстотерпцы, во избежание отпечатков кроватной сетки, укладывали их поверх матраса, под простышкой, — оценим же почти рахметовское терпение спать на жёстком и влажном. Эти клинья, вырезанные из невесть где добытой фанеры, были ценностью и переходили по наследству: от выпускников — кадетам следующей роты. Велась и на них охота, на клинья, — когда, после завтрака, мы уходили в классы, дневальные сержанты обшаривали койки и тумбочки. Это приходилось делать по всей казарме, где спало обычно два взвода, гавриков шестьдесят, — владельцы клиньев, не столь многочисленные и хорошо известные, у себя их не держали, а отдавали кому-нибудь на хранение. Поскольку и хранители делались известными, клинья постоянно мигрировали, совершая по всей казарме долгий и причудливый круговорот. Велика и горестна была потеря, когда особенно пронырливому сержанту удавалось их найти и он с треском и с торжеством разламывал их сапо-

гом. Но понемногу эта борьба, с учением на ошибках и бесконечными усовершенствованиями, стала клониться в пользу клёшников; начальство к ним потеплело и даже прониклось симпатией, какую часто снискивает боец, выдержавший испытание и показавший характер.

А теперь эти бойцы, прежде вызывавшие у меня лишь сочувствие, шли гурьбой мне навстречу — и моё к ним отношение с каждым их шагом менялось. Они захватили то, что не им предназначалось, жеребчикам лет по 19-и, если не старше, они у меня, 15-летнего, украли эту прогулку с моей сверстницей, а ведь у них своё было, чего мне по возрасту не досталось. Ровно год прошёл, как закончилась война, и это их ровесники падали на Зееловских высотах под Берлином и на ступенях рейхстага — от этой участи избавили их, наших первых выпускников, предусмотрительные родители ещё в 1943-ем, отдавши в суворовцы явных переростков, многократных второгодников. Я их не осуждал, я скорее жалел их — сколько же они упустили в своей жизни, могли бы хоть год повоевать! Я решительно знал, что со мной на войне случиться ничего не могло — ни смерти, ни тяжёлого ранения, — и потому ничто не мешало моей жалости к ним и вместе с нею — жгучей зависти. Теперь эта зависть перерождалась во мне в такую же жгучую неприязнь, почти ненависть. А самое обидное, что я всё это должен был снести. Мерзостей «дедовщины» мы в училище не знали, но старших кадет принято было уважать и уступать им. И, сознавая своё бессилие, ничтожество, я покорно сошёл с тротуара на булыжник двора, проросший вялой и пыльной травкой.

Они прошли, едва ли заметив меня, рассыпаясь наперебой в дурацких остротах, которые, кажется, не очень её сместили. Опустив голову, боясь взглядом наткнуться на обжигающее лицо, я видел, как прошли её ноги — взбиваемая коленями тяжёлая тёмно-малиновая юбка, загорелые голени с тонкими щиколотками, низкие туфли — почему низкие? чтоб выглядеть ниже? или не пришла ей пора для высокого каблука? Шаг у неё был широкий и твёрдый, несколько не девичий, — когда-нибудь я ей скажу об её походке, и она спросит: «Как у солдата?» — надеясь на моё снисходительное: «Ну что ты, совсем нет!» — а я, не отрицая, только заверю, что уже привык

к её шагу и другого не представляю себе и не хочу.

Как унизительно мало мы знаем не только о том, что с нами будет в следующем году, но даже в следующие недели. Хотя и почудилось мне на краткий миг, что мимо меня, может быть, прошло моё будущее, но всё же не мог я предвидеть, что все преимущества на моей стороне, а не жеребчиков. Им предстояло две недели спустя разъехаться на последние кадетские каникулы, а осенью идти курсантами в училища офицерские, мне же — прожить после общего разъезда ещё месяц с небольшим в опустевшей казарме, совсем вольно, отягчая свой распорядок дня лишь аккуратными — впрочем, тоже добровольными — явлениями на завтраки, обеды и ужина, но главное — в одном с нею городе!

15-летнему Ромео невозможно спросить у кого бы то ни было адрес Джульетты, это совершенно исключено, пересохнет гортань, прежде чем пролепечут губы что-то членораздельное. Но я был свободен с утра до ночи, и не так уж был велик город, в котором жили «англичанка» с дочкой, снимая жильё в каком-нибудь двухэтажном грузинском деревянном доме, с крутой наружной лестницей и террасою по всему второму этажу. Так снимали все наши офицерские семьи, так же снимала и моя мать с 76-летней бабкой, покуда училище, принимая с каждым годом новые поколения и ещё не расставаясь с предыдущими, не разрослось до того, что уже не помещалось в здании кутаисского суда, и две младшие роты, где моя мать и преподавала, пришлось разместить в Махинджаури, близ Батуми, в бывшем санатории НКВД. Всё же мне не хотелось, чтоб встреча с дочкой произошла около её жилья, где бы я застал её врасплох — почему-то представлялось мне, за развешиванием белья, — и я бы увидел, как бедна моя принцесса и тесны её палаты, а она бы догадалась, что я не случайно в этих краях оказался, но пришёл ради неё. Лучше бы — где-нибудь в городе, и вот именно случайно.

Через проходную выпускали меня впервые без увольнительной, дежурный сержант только оглядывал — по форме ли я одет, и я мог сколь угодно душе бродить по всем тем местам, где раньше бывал так коротко — проходя ли в строю с оркестром или в часы увольнения, всегда спеша. А теперь я фланировал по всей улице Маяков-

ского, начинавшейся от ворот училища и кончавшейся у вокзала, а то сворачивал на улицу Сталина или Бери; между ними вписался маленький Центральный парк, бывший для нас обычным местом сбора — здесь на полчаса нас распускали размяться, сбегать в ближние магазинчики, и здесь же в минувшем году был у нас 9-го мая крохотный парадик Победы, а после него — «гулянье». Погуливал я и в другом парке, у Белого моста, со знаменитой 700-летней чинарой; на её ветвях, по преданию, царь Баграт вешал своих нерадивых министров. С большой надеждой я заглядывал в магазинчики гостиного двора, с его полукруглыми белыми арками, в те особенно, где продавалось что-нибудь *для женщин*. Даже в духаны заглядывал, куда нас, бывало зазывали полусонные толстые духанщики возгласом: «Суворов!» Кроме того, что они нам потихоньку, в задней комнате, продавали вино в разлив, они ещё торговали мандаринами, гранатами, хурмой, мушмулой, чурчелой — отчего бы и «дочке» здесь не оказаться с кошёлкой, но, может быть, сшитой из кусочков кожи разного цвета? Так, ещё не видя ни разу, я эту кошёлку себе представлял.

По вечерам, с гудящими ногами, я приходил в кинозал и вместе с сержантами и солдатами из obsługi в надцатый раз смотрел те же фильмы. А впрочем, не те же, что-то в них решительно переменялось, сместилось. Вдруг как-то поблекли те, прежде дух захватывавшие эпизоды со стрельбой, с погонями, снарядами разрывами, завывающими самолётными пикированиями, и напротив, самыми важными и волнующими сделали другие, прежде скучные, где «лизались» и «обжимались», где говорились слова однообразные и пустейшие, пропускаемые мимо ушей — и в которые так ненасытно теперь хотелось вслушиваться.

Едва утра дождавшись, я уходил на берег Риони, переправлялся по деревянным висячим мосткам и карабкался на гору, почти отвесную, к развалинам крепости Баграта — всё того же, не пронумерованного, бесконечного Баграта — либо на другую гору, к махонькой древней церквушке, приютившейся с небольшим погостом на пятачке утёса. Это были *достофимечательности*, к ним с другой стороны подходили дороги, и можно было тут встретить любителей ста-

рины, экскурсантов. Правда, ни на каком транспорте *она* бы сюда не добралась, но — вдруг! но бывает же чудо! С этих «господствующих высот» обзревалась вся панорама долины Риони — от плотины гидроэлектростанции слева до училища справа, трёхэтажного массивного здания, всаженного в тесный булыжный двор, полукруглым мысом выдававшийся над бурлящей мутной водою. В те года необычайно зоркий, я бы различил *её*, если б она почему-то вдруг снова прошла под теми окнами по бежевым плитам. Я бы и это почитал чудом, одному мне предназначенным, хотя добежать туда, конечно, не успел бы.

И ПР.

Жизнерадостная колбаса.

Цветёт дармовая жизнь. Под тентом у Чайного домика в Летнем саду разбито летнее кафе. Гули воркуют. В ногах зажата бутылка вина «Три семёрки». — Человек — всё равно что соль для селедки! Металл — стране! Уголь — стране! СОЮЗПУШНИНА на валютном аукционе провела выгодные торги. Состоялся розыгрыш с погашением облигаций «Золотого займа». Тур Хейердал на папирусной лодке пересёк Атлантику. Чуждое веяние — *абстракционизм*. Пустая бутылка тихо спрятана в клумбу. ...дермантином пахнет Фонтанка.

В мире мудрых мыслей: «Людям даровано счастье».

Брикет киселя «плодоягодный» можно жевать сухим. Барашковые облачка в витринном стекле. Впереди лоток на колёсиках с местным ленинградским мороженым. «Спотыкач». «Дергач». «Бенедиктин». «Ерофеич». «Дубняк». «Зверобой». «Запеканка». «Томянка». «Шартрез». Мысль: «В этой жизни всё просто. У любви нет преград.» ...трицепс, тайный приём «самбо». В витрине пикассовский голубь, в кармане рубль! К жёлтому пиву подходят красные раки. «Фараоны» ходили по улицам по трое. В пасху вместо «крестного хода» шёл фильм «Лимонадный Джо». «Дорога к звёздам», фильм о судьбе одного мечтателя — три ступени ракеты самосгорают! Бабки. Капуста. Чирик — хозяйственный. Серебро на рагу «овощное» — левая заначка. Хомяк стоит РУБЛЬ!

Четыре коня Клодта вздыблены за спиной.

Суворовец почти догоняет 10-ый троллейбус. На доме доска *мемориальная*, с профилем. Через лупу: коллекционная пуговица с двуглавым орлом хранит дух царизма. Для души — собирали *вырезки по искусству* разных художников из «Искусства РСФСР», «Крестьянки», «Смены», «Работницы». — Спешу на деловую встречу. — Не ты, а Вы! — Сам деревня! — ПОШЁЛ В БАНИЮ! Интим. Тонкие сигареты «Фемина». Торшер с мандариновым светом. Тахта — *сыкстин тонн*. Анекдот «армянское радио», клетка для попки. Хаза! Предки слиняли... скалозуб отшмыгнулся! Есенин с Хемингуеем по стенкам, с трубками. В магазине «Охота» предметы из кожи: намордники, ремни, ошейники. Поплавки из гусиных перьев и из пластмассы. Пыжи, дробь на вес, ружья ИЖ. С рук — мотыль в фунтиках.

Звенит в виске физзарядка.

Начёс. Химзавивка — шестимесячная. Бигуди. Копна на затылке — «бабетта». ПРОФТЕХКУЛЬТПРОСВЕТСОЮЗ. Девушка из простой, но приличной семьи — невеста. Вязальные курсы. Перо «уточка». «Шербурские зонтики». Значкисты БГТО пять раз обязаны подтянуться! Часы в деревянном корпусе с золотой гравировкой, вентилятор с пропеллером. ОБЛОНО. В «рабочий полдень» поёт Шарль Азнавур! Поменялось правительство. По радиотрансляционной сети объявляется перерыв до пятнадцати часов. — Кукурузы больше не будет! Жизнь учит: «Зла в тухлых яйцах нет!» Газировка за 1 копейку с шипящими пузырьками на стенке стакана. *Пессимизм*. Гипс. Голова Нефертити в доме — к несчастью! Душ Шарко. Жень-шень омолаживает тело. ...у ежев есть скелет!

Мелочиться в пределах рубля не принято.

Металлолом, ВТОРЧЕРМЕТ, «Утиль-сырьё», бак для пищевых отходов. В уральском базальтовом талассоиде спрятан «царский могильник». В магазине «Табак» штабеля кубинских ко-

робок с сигарами: «Монтеррей», «Корона», «Партагас», «Ромео и Джульетта». Выпущен металлический *юбилейный рубль*, в фас. Братская Прага приветствует поступь наших «стальных коней», на заводе «Союз» готовятся к производству три новые модели шариковых ручек. Чаше стали рождаться Денисы!

Город кристально чист.

Салатно-зелёные «инвалидки» исчезли с улиц. «Черновоз» — граждане мимоходом глядят вдогонку кортежу «чаек» и «волг». Патруль отбивает от «жвачников» интуристов. В киоске на углу улицы Бродского — привоз иностранных журналов: «Панорама», «Арена», «НБИ», «Ойленшпигель», «Китай» и наш «Крокодил». У «ГД» на фарцу пошли облавы и рейды. В сфере услуг: салон «Звуковое письмо». Журнал «Горизонт» с прозрачной пластинкой. Автоматная «двушка». Проезд на такси по счётчику. «Блокнот агитатора», «Роман-газета» под слоем пыли. ГОССТРАХ. ГЛАВТАБАК. ЛЕННАРПИТ. ...ненавязчивый СЕРВИС. Перед сном — НЕОН! Световое ТАБЛО, информ-реклама «бегающая строка». ...читанная «Неделя». В праздники — *иллюминация*. Употребляют лосьон «Цветочный». Два модных запаха из доступных: «Быть может» и болгарский «Сигнатюр». Сатин. Ситец. На часах с переливом курантов — «час пик». Мангышлак. Пионеры в «Артеке». Новый атомоход. Бельевая метка пришита к углу подушки. Бельё прямое, фасонное, с гладкой. Электрический свет парализует акул! Димедрол со «знаком качества». «Сто лет одиночества». Человек гордится — Богом, душой, любовью, цветами, детьми и невинными. Люди пришли и ушли. В «низочке» возле Дворца Искусств — коньяк пополам с шампанским, закусывают «Дуэт» медалькой в золотой фольге. Трудовая интеллигенция культурно проводит время. «Государство — это мы!» В кинотеатре «Новости дня» на «кольцевом-непрерывном» сеансе в программе: «Советский Союз», «На страже Родины», «По родной стране», «Фитиль» № 192. Кинозрители люминесцируют. Ядра атомов имеют плоскую форму.

Растление масс!

В грот «НАРЗАН» на Невском заглядывают желудочные. Вьетнам победил! Зеленая «трёшка» ходит по кругу в долг, до среды. На западе произошла «сексуальная революция». Мао Цзедун переплыл Ян-цзы. Плеваться на улице *некультурно!* *Друшлак* и *дуришлаг* говорят неправильно! Шорты-трусы! *Птифлор* для маленьких в кафе на Садовой. К *столовочному* «сушняку» полагалась конфета «Кавказская». «А ну-ка, девушки», Хиль, КВН. — ...Голливуд, со своим стриптизом... Твист! Шейк, хали-гали, чемодан с аляписными наклейками, «облади-облада». Сиртаки — коллективный танец. Археологи ищут ключ к шифру пещерных клинописей, завершён автопробег на буерах в песках Кызыл-Кума, в вечной мерзлоте найден скелет мамонтёнка. Бригантина. Эрмитажные импрессионисты. Ужимки бестолковых — диксиленд с банджо. Внутри улитки во внутреннем ухе после 85 децибелов отмирают волосяные клетки. Глоток «Алазанской долины», горсть поливитаминов. «Битлз», «АББА», «Бонни-Эм», «Баккара». Ночное интервью, Сопот.

Кампания: «Покорение непахотных целинно-залежных земель в полосе среднего Нечерноземья».

План! — задолбить косяк, подкур. «Поздравительный адрес» с папкой. Магазин «ПЛАКАТ», фотонабор членов и кандидатов в члены ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС. — ...Сегодня отгул за отработку в совхозе. На Марсовом поле зажётся «Вечный огонь», появилась традиция: стоять в подвенечном платье на фоне Памятника Борцам Революции. Дети спешат к Ленину — в «Шалаш», на озеро Разлив. Объявлен День рыбака. Дурь толкают глухонемые у «Соломона» — паль, индийская конопля, травка, баш, оковалок. Подшмалить можно тихо в саду на угловой скамейке. «Пришёл бодун и все кайфулинки обломал!» Приход и отходняк в «Сайгоне». Апокалиптические картины. Эротические зарисовки. Мифология современного города. Весло в руках Циолковского — уменьшенная копия *звездолета*. — «Космос в надёжных руках!»

«Те сыновья и дочери из хорошей семьи...»

За пятилеткой идёт пятилетка. Колесо «Кировца» догнало колесо «КАМАЗА». День физкультурника. День здоровья. Грибные поезда. Лыжные стрелы. «Выше! Дальше! Быстрее!» ...частик, снетки, ямайская *сколопендра*. ЛГУ — языковые инакомыслящие. Неблагонадёжные вкупе с финнами. На теплоходе! На Валаам! Ночные экскурсии: экзотическая колония, монах-поводырь. насморк, качка, португальский портвейн. Актуальны: «летка-енка» — новый весёлый танец! Готт — пражский соловей! Руссус — адриатический колокольчик! Радиолампы сменили на полупроводники и схемы: век электроники. Инжир — «греческая смоковница». Анахронизмы: торт «фруктовый» за 98 копеек с вишенками, семейное зрелище — Фридрих-штадтс-палас. *Этногенезис*, «пассионарность», графики, цифры, проценты. «Генетический код гороха — каша!» 3-50 пара колготок. Сабо, тапки-резинки, подметки с одной перемычкой для пальца ноги — «вьетнамки». Копьячный набор с «мерзавчиками», дефицитные словари, довоенные марки СССР поднялись в цене. Гимн без слов. ...обманчивая тишина.

Тополя рассыпают пух.

Кио в цирке пилил людей! За «чёрной субботой» зарядили подряд: загранпрофпутёвка в соцстраны, синхронное плавание, РОМАНТИКА с перебором струн у костра, хоккей с профессионалами. ОРЗ. Кубик Рубика. БАМ. АФГАН. НЛО. На столах потребителя морская и *океаническая* рыба: хек, палтус, навага, рыбец, окунь, минтай, мокрорус, путассу, ледяная. Действует крематорий. В Летнем саду плавали лебеди — их задушили! За печеню живая очередь тянется в Елисеевский. Горы морской капусты! Ещё более подозрительны: кальмары и креветки. Четверг — *рыбный день*. Полдень.

Дневной сон — нормальное состояние человека.

Холостой выстрел петропавловской пушки. Зрители, ближние и дальние родичи легендарного города: спортсмен-меда-

лист, рачительный и радивый с Доски почёта, орденосолец. Абитуриенты. Метры. «Двойной тулуп» фигуристов. Абонементный бассейн. Мат Фишеру! Товары из-под полы: вымя, язык, бок, мозги. Вырезка у мясника по блату. — «Всегда что-то есть!» Лампочка. Электрошок. Корм. ... «павловская собака» освоилась в лабиринте! Цены государственные. Торговля с ящиков: бананы зелёные, яйца финские, синие куры. На строй можно жаловаться в ООН! На афише: «Тень», «Ханума», «Свадьба Кречинского». Коллаж: банкет с фужерами и Буратино. Сигареты «Опал», «Интер», «Стюардесса» с наклейками «Минздрав предупреждает!» Из вычесанной шерсти «колли» получают вязаный шарфик и шлем. Источник веры: «летающие тарелки». Наборы директорские и простые. Давка! Чай со слоником и без слоника. 6 передних мест только для пассажиров с детьми, героев и инвалидов. Пончо. Дублёнка. Кожанка. Символ земли — шар.

Люди на солнце ярче и чище горят!

Суровые будни. Материя вечна. Цеховое переходящее Красное Знамя труда. ГРОБ — «гражданская оборона» — предмет. Воробьиных куч в песочницах поубавилось. Чайка-помойная, всеядна. «Красные следопыты» шли «по тропам героев». Песни поют под Высоцкого. Спас на крови в лесах. Клесты клювом-щипцами обирают ольху на эспланаде. Бабки одеты как *пэтэушницы*. Дутые куртки. Плоть тленна! — I, II, III группы. Удар каратэ с «киай» — эффективен. Хрен трут на тёрке. — Студень готов — все за стол! Голос Пиаф. «Эхо войны» отмечалось вечерним салютом. Плакали стоя. «Молодые голоса» — конкурсный фестиваль. Празднества и гулянья: «Белые ночи», смотр кораблей, «Алые паруса». *Гринниана*. В куске балтийского янтаря замуровано реликтовое насекомое. Элитарное место ДУБУЛТЫ. Рижское взморье — сливки!!! Смолистые сосны и кричащие чайки. Кеды и тапки. Джинсы-«варёнки», «бананы», Кейс с номерным замком, шаровары «адидас» с лампасами, в багажнике «тачки» — рижский «бальзам» и ящик пива. — «СТОП! Запись окончена. Конец передачи «Ваш магнитофон»».

Вода в Неве стоит на отметке 1 м 80 см выше линии ординара. Снег на асфальте посыпан солью. На полу «гастронома» месиво опилок. В микрорайоне всё рядом: штаб ДНД, вагончик флюорографии, охнари на детской площадке. Водка — круглосуточно у таксистов. На руке две прививки от оспы. «СОЛНЦЕДАР». Под «Завтрак туриста» употребляется абсолютно всё: «Бычья кровь», «бормотуха» в *тузыре*. Квадрат. «Слеза» из опилок. ...смертниками практикуется *метанол*. Слежка! Телефон прослушивается, тайная читка стихов «для своих». Обведённые мелом и унесённые ветром.

По утрам земля круглая.

Пасьянс почти получился! Романс из кинофильма «Овод», Д. Шостаковича. Сообщение ТАСС о кончине главы государства. Тотальных трансляций футбола больше не будет! Дух — лёгкое тело. — «ДЕЛА!..» Резьба по моржовой кости, рогу, клыку. Левша *по натуре* — косою и кривою. К прилавку не протолкнуться, товар добротный и разный: готовое тесто, штепсели, санки к зиме, прищепки впрок, мебельные гарнитуры, телевизор «Радуга», в кредит. Копчушки. Хрусталь. В центре кружат авто из сферы брачных услуг с двумя кольцами над ветровым стеклом и куклой в разлётах лент. Вышел УКАЗ: с рабочих мест не вставать! Домашний сто-рож — собаки пород «ризеншнауцер», «ротвейлер», «мастиф». Бультерьеры — собаки-убийцы. РАДИОПАУЗА, дикторский голос: «РЕЖИМ 2 ТИРЕ 2». Признак дыхания — тишина.

Ещё один ледоход прошёл под мостами.

Школьники нюхали клей «Момент». У стен Петропавловки, на припёке, первые бледнотелые загорающие. Трудящихся через мост перевозят трамваи. «Колос», в разлив «жигулёвское». Полярная шапка тает. Белоснежная ветка сирени появилась в стакане. Транспортный дырявый талон под кроссовкой. В сауне банщик *подмазан*. От Пулково по Московскому кавалькада машин, из голов-

ной — вой сирены. Точечный массаж — *акупунктура*. ПАРТИЯ новых сапог из загранки! Кофтырки из «марлёвки». Футболки с надписью «вранглер». Из форменного обмундирования оперуполномоченных кирзовые сапоги изъяты! В ДАМБЕ будет 12 водопропускных отверстий. На люке спит *косисено*. Ворона вострит клюв о ржавую арматуру. С оркестром, колонной прошли сквозь дома ветераны. Ходят разные слухи: взрыв! апокалипсис! Замороженная вода в бутылке: в тепле разрывает стекло. Считалось, что невскую воду можно не кипятить. По каналам и рекам курсируют самоходные барки «галoши». У подножия Исаакия пристань речных трамвайчиков и «метеоров». В городе плавал смур, туман расползлся по мозаичным плиткам турецкой бани. Храмовый гусь в тюрбане восседал на парчовом уступе подиума в окружении мочёных яблок. Возле светильника на треноге блаженствуют кальянисты. *Пробил час обнажения*. — ...чтобы слушать шум моря, рапан прижимают к уху.

Хлопок — белое золото. Плов. Шурпа.

Дело: о взяточничестве в особо крупных размерах. Дефолиантные дыни запивают зелёным чаем. Восточный гороскоп «Мышь!» На стадионах толпы народа косил под корень взгляд магациклопа. Мор. В год Дракона землетрясением стёрло народы и города. — ...смерть судит о жизни по самой себе. «Женщина в белом» — роман за 20 кг макулатуры, номерок на ладони ставился фломастером для вторичного участия в ночных переключках. Озонная дыра в атмосфере. Свободные турмаршруты: Валдай, Минводы, Тарханы, Пушгоры. Зеленый пояс Славы. У контактёров утюг прилипал к голой груди. Съезд прошёл во Дворце! Об этом теперь уже смело можно *доложить*.

В пригороде взбесились зайцы.

«Троя пошла на Троя!» — об этом надо *кричать!* Простудный дождь за стеклом, улицы перекопаны. Ежи вели себя агрессивно. Примелькались гигантские чёрные муравьи под Лугой.

Оборотни-грибы: белый «пантерный» и красный «мухоморный». Попы за деньги крестят чертей. Трамваи рассыпали синие искры. СПб белых НОЧЕЙ.

Окурки, хабарики. «Стрела», «Пегас», самокрутки.

Табачное крошево в майонезной банке — «на чёрный день». Поколение ВОВ воспитывалось на «КОЛОБКЕ». Новый завет — «Письма слепых в назидание зрячим». Безмолвный свидетель стеклянным зрачком обозревает пустошь ледяной христианской нивы. ДЕНЗНАКИ — рейхсмарки довоенного образца, медь цвета радостного гепатита, коллекционный РУБЛЬ. Пенсионеры волнуются: когда будет Сталин? «Советский Союз» глазами зарубежных гостей. Паденье *стены* — как в Берлине. Порносалон, как в Польше. Ужасные синие ласточки разевают голодные рты. Талонный блок стригли на мясо-крупку-водку: 1 бут.-чай-масло раст. и жив. Вода намагничена «ПРАНОЙ ДОБРА»! Всё то же самое — АРХЕТИП коллективной души. На Певческом мосту две девочки целуются с Барби. Пресса — это бумага!

Смерть похожа на молоко.

Серебристые облака исчезли из поля зрения. «Сознание вещи и есть сама вещь.» Разгрызаю зубом речную ракушку — внутри жемчуга нет! Всё вместе и разом — *туфта беспонтовая!* Медленно плывут по воздуху ибисы, как облака по течению ветра. В ветре есть: ДЛИНА, ВЫСОТА, ШИРИНА

и пр.

авг. 1996 г.

Дмитрий Закс

первое второе и третье

1

горячий борщ был с мясом а когда его ставили в холодильник превращался в густое желе покрываясь шершавой светло-желтой коркой застышего жира и когда мы приходили из школы и нужно было разогреть себе обед поварешка проламывала корку и в желтом льду с мясными торосами возникали темносвекольные — если конечно свекла свекольного цвета — полыньи

а *борщ холодный* готовился только летом в жаркую погоду чаще всего на даче и был без мяса а по цвету немного темнее горячего пока в него не положили сметану огурец нарезанный зеленый лук и половинку крутого яйца которое как всегда не доварилось и желток чуть-чуть вытек а погода в тот день испортилась и пришлось уносить еду с накрытого на улице стола в дом на веранду

был еще *пасхальный борщ* приготавливавшийся у бабушки наутро после первого седера и потом еще несколько дней из моченой свеклы которую за три-четыре недели до пасхи заливали водой и в трехлитровых банках из-под березового сока ставили с треском раставив заклеенные на зиму оконные половинки на подоконник между рамами а потом варили вместе со свежей свеклой картошкой и кажется яичным белком после чего саму свеклу выбрасывали а ели только жидкость накрошив туда мацу которая намокала не сразу и если накрошить быстро и много то можно было засыпать ею всю поверхность тарелки так что видна было только белая с коричневыми отметинами суша и лишь прощупывая ложкой качающиеся гати можно было обнаружить в глубине темнокрасное озерцо

щи бывали *горячие кислые и зеленые* но *кислые* мы почти никогда не варили а *зеленые* были уже как бы не *щи* а *щавелевый суп* холодный постный летом и *горячий* с мясом зимой — молочно-зеленый с желтоватым отливом почти прозрачный бульон в котором осевшие

на дно щавелевые частички начинали взлетать вверх и кружиться стоило только пошевелить ложкой

куриный бульон мы варили довольно часто доставая для этого из морозильной камеры гладко упакованных в заиндевший полиэтилен мускулистых венгерских куриц принадлежавших к какой-то неправдоподобно безголовой породе то есть не только не имвших головы но как бы даже и места из которого она могла бы вырасти зато имевших внутри обернутые в полиэтилен внутренности сердце печенку и еще один ценимый нами орган известный под названием *пупок*.

кроме венгерских кур из холодильника бывали парные из магазина которых нужно было обезглавливать и обжигать на огне для сведения остатков перьев а также куры рыночные то есть купленные нами с бабушкой на кузнечном рынке в те времена когда мы еще брезговали госторговлей и покупали продукты на кузнечном рынке принося оттуда покупки в сетках или как говорили иногда *авоськах* удобных для картошки и неудобных для курицы высовывавшей сквозь сеточные ячейки в разные стороны желтые и когтистые ножные пальцы которые если варили бульон выкидывали но использовали если делали *куриный студень* или *холодец*

зато в *бульоне* из рыночной куры иногда попадались выпотрошенные из куриного нутра яичные желтки величиной от совсем маленьких с горошину до больших размером почти с настоящий яичный желток вроде того который плавал бы в *холодном борще* если бы удалось сварить яйцо вкрутую только эти внутренние непонятно для чего предназначенные желтки были тверже и вкуснее особенно если долго перекачивать их языком и зубами прежде чем окончательно разжевать

еще можно было купить живую курицу но только не в ленинграде а в москве где для этого был специальный птичий рынок называвшийся так потому что там продавали птиц то есть канареек волнистых попугаев и голубей а также птицу то есть живых гусей уток и кур за которыми туда каждую неделю ездил дядя яков муж бабушкиной сестры тети сони купив на птичьем рынке живую курицу дядя яков фамилия которого была резник вез ее на метро — тоже

наверно в сетке — к резнику фамилия которого неизвестна

бульон мы варили чистый безо всяких добавок но уже в тарелку могли положить вермишель лапшу или гречневую кашу которую прежде чем варить перебирали раскатывая по кухонному столу накрытому пахучей клеенкой с плодово-ягодными узорами купленной в стекольном отделе хозяйственного магазина где у стекольщика отмерявшего ее с помощью потертого деревянного метра порезанные пальцы бывали заклеены цветной изоляционной лентой

в худшем случае вместо гречневой каши перебирание которой со стороны было немного похоже на игру в кто-больше-найдет-продолговатых-черных-камешков бульонной начинкой оказывался рис совсем отказаться от него не разрешалось хотя тем кто не любит разрешалось не доедать а тем кто решил не доедать рис предстояло зачерпывать бульон не зачерпывая риса то есть сначала осторожно лавировать ложкой на глубоководье расталкивая плавающие по поверхности зернышки а в конце добравшись до рыхлой рисовой отмели выжимать из нее остатки бульона пытаясь продавить ложку до самого дна тарелки где если и был рисунок то под слоем риса не видно какой

хуже риса была только перловая крупа которая в бульоне к счастью не встречалась зато встречалась в *грибном супе* то есть не во всяком а только в супе из сушеных грибов и хотя она конечно не могла окончательно испортить его замечательный вкус но все же несколько омрачала общее удовольствие пока в один прекрасный день мы не усомнились в ее неизбежной необходимости и не положили вместо нее обыкновенный рис

откуда ее уже никогда не удалось изгнать так это из получившего в те годы незаслуженное распространение *рассольника* которым оказавшееся неважным поваром государство пыталось накормить своих проголодавшихся к обеденному перерыву граждан усаживая их за шаткие столовские столы заботливо вкладывая им в правую руку алюминиевую ложку или вилку для чего-то затянутую в талии узлом а в левую руку продолговатый кусок рыхлого черного хлеба и предлагая на пластмассовом с отбитым углом подносе такое например меню — граненый стакан сметаны рассольник с солеными

огурцами из свиных почек шницель рубленый с макаронами и крахмальный кисель

в отличии от несколько навязшего в зубах *фассольника* в *гороховом супе* была какая-то надежная простота гарантировавшая некоторую съедобность ниже которой он не опускался даже в столовых а кроме того к достоинствам *горохового супа* несомненно относилось и то что необходимая для его приготовления свиная часть — ее легко было узнать по маленькой фиолетовой татуировке на толстой светло-коричневой коже — не исчезала из магазинов даже в самые худшие для всех остальных мясных частей времена может быть потому что не была съедобна ни в каких видах кроме как в *гороховом супе* к которому мы обычно подавали нарезанные маленькими кубиками сухари

из двух *грибных супов* — *зимнего* из сухих и *летнего* из свежих вкуснее был *летний* но готовили мы его реже поскольку непременно необходимые для него свежие белые грибы — если их вдруг удавалось привезти из неожиданно удачной вылазки в лес — мы в первую очередь мариновали а во вторую сушили жертвуя летним удовольствием ради зимнего поэтому чтобы все-таки сварить суп из свежих белых приходилось покупать их на рынке по довольно-многорублевой-кучка что для сушки и мариновки было слишком дорого но недешево и для супа а в результате всей этой путаной диалектики суп из свежих белых грибов удавалось поесть два-три раза в году

в более ранние времена *солянка* или как ее почему-то иногда называют *селянка* — хотя два эти похожих слова уводят в два совершенно разных направления — была блюдом совсем не домашним а безусловно ресторанным почти обязательным для любого ресторанного обеда так что и наше самое раннее ресторанное переживание связано с солянкой которой — блюду и без того совсем не будничному — особую торжественность в этом воспоминании прибавляют какие-то полустертые из памяти бархаты и от вьющегося над тарелками пара туманные зеркала тогда еще не поддельной *астории* какие-то восточные люди за столом или по-ресторанному за столиком и на этом фоне сама солянка не то в тарелках не то в блестящих металлических мисках — в этих мисках она часто возникала

впоследствии хотя вряд ли подавалась в них в тогдашней *астории* сцена завершается тем что один из восточных людей спит положив одетую ондатровой шапкой голову в желто-золотую прядную и приправленную лимоном соляночную жидкость где плавают черные маслины и белые кусочки осетрины из чего следует что солянка была рыбная

после этого мы никогда не бывали в *астории* так что не имели возможности проверить достоверность этой картины которой все следующие рестораны настолько же уступали по части зеркал и бархатов насколько заячья шапка уступает ондатровой хотя сама солянка была ничуть не хуже а иногда даже лучше например дома где мы с некоторых пор стали ее готовить еще до того как пошла мода на разные кулинарные затеи и многие стали делать солянку но она так ни у кого и не получилась

2.

со временем мы все реже стали ходить в рестораны зато в поле нашего зрения попали *шашлычные* и *чебуречные* которые отличались друг от друга тем что в чебуречных *шашлыки* были а в шашлычных *чебуреков* не было зато и там и там подавали в горшочках *чанахи* и *харчо* которое иногда называли еще для большей ясности *суп-харчо* хотя оно и не бывало никогда ничем кроме супа в отличии от какого-нибудь *гуляша* который мог быть *гуляш-суп* и просто *гуляш* причем первый отличается от второго как первое от второго

горшочки с *чанахами* были глиняные темнокоричневые с отбитой на круглом боку глазурью их доставали из духовок и приносили на стол страшно горячими о чем при всей очевидности этого обстоятельства вспоминалось слишком поздно уже после того как первая ложка обжигающей гущи уже металась во рту потом приходилось долго заедать этот ожог *лавашем* и запивать налитым из большого стеклянного графина *гранатовым натитком* чей исчезающе-желтоватый цвет как-то скандально не соответствовал названию вызывая может и беспочвенные но не удивительные по тем временам подозрения что туда много чего не доложили

однажды такие горшочки появились дома и мы стали варить в них *чанахи* и другое грузинское блюдо *чахохбили* а потом оказалось что в этих же горшочках можно приготовить *французский луковый суп* рецепт которого нам рассказал один пожилой армянин-повар репатрировавшийся из франции в ресторан центральной гостиницы города ростов-на-дону

недостаток этих горшочков заключался в том что их было трудно выесть до дна оставаясь в рамках принятых представлений о хороших застольных манерах поскольку с ними нельзя было справиться как с обычной глубокой тарелкой которую разрешалось постепенно наклонять вперед сгоняя остатки к одному краю откуда их рано или поздно удавалось окончательно вычерпать причем наклонять тарелку в противоположную сторону то есть к себе считалось почему-то неприлично почти также как допивать прямо из тарелки горшочек же как ни наклоняй все равно невозможно так устроить ложку чтобы зачерпнуть весь остаток супа не говоря уже о том что соприкосновение ложки с шершавым глиняным дном вызывало скрежещущий звук привлекавший к нашим действиям слишком большое внимание

как ни странно самые простые в сущности продукты и блюда вызывали за столом трудности справиться с которыми было куда труднее чем с разными известными своей сложностью приборами вроде щипцов для ухватывания улиток и спиц для препарирования тех крабов для которых недостаточно простого консервного ножа именно поэтому например в той шашлычной со слишком горячим супом мы заказали *цыплят табака* а не *шашлык* потому что боялись что официант забудет снять его с вертела перед тем как подать на стол и нам придется делать это самим рискуя при этом смести на пол всю посуду и вылить на себя весь светло-красный томатный или темно-красный алычовый соус из блестящего железного соусника есть же шашлык прямо с вертела или с шампура в приличном месте считалось неприличным

другая опасность подстерегавшая нас когда мы собирались есть шашлык или любое другое жареное мясо часто появлявшееся тогда на праздничных столах под майонезом и сыром заключалась в том

что отрезанный и положенный в рот кусок вдруг оказывалось невозможно прожевать ни тогда ни потом так и не нашлось ответа на вопрос о том куда же этот недожеванный кусок девать также как не нашлось ответа на потерявший с годами былую остроту вопрос о том куда девать на время обеда недожеванную жевательную резинку чтобы потом можно было снова к ней вернуться

вообще в сфере хороших манер не все было достаточно отчетливо прояснено вроде известного правила о том что *дичь* можно руками понимавшего под дичью исключительно пернатых вроде фазанов вальдшнепов и прочих в те времена довольно редко попадавшихся нам птиц хотя не исключено что *дичью* является вообще всякая лесная живность в частности копытная а с ней-то мы как раз иногда сталкивались например с *оленем* в одноименном ресторане в зеленегорске кстати тоже в горшочках или с *кабаном* которого мы однажды заказали в ресторане гостиницы таллин в одноименном городе но есть не стали поскольку из всего кабана нам почему-то принесли нечто слишком уж похоже на ухо

дома у нас *дичь* появилась однажды в виде одного глухаря и одной утки привезенных нами с охоты куда мы ездили с заместителем начальника районного военкомата у которого было ружье но не было машины у нас же наоборот не было ружья зато была машина и на этой машине мы возили его на охоту а он за это не призывал нас на военные сборы и хотя мы ездили довольно часто охотничьих трофеев за все время нам досталось кажется только три а именно одна приличных размеров щука — в тот раз мы видимо ездили на рыбалку — и две вышеупомянутые дичи из которых глухаря мы вроде бы даже не пустили на порог настолько он был страшен а утку зажарили в духовке и съели хотя она и оказалась невероятно жесткой

в те дни когда у нас к столу не было дичи мы готовили более простые кушанья например *котлеты* мясо для которых перемалывалось или как говорили бабушка и дедушка перекручивалось в большой тяжелой мясорубке сделанной на кировском заводе из танковой брони привинтив эту мясорубку к кухонному столу мы засовывали ее в бесконечно убегающий внутрь себя спиральный винт от которого начинала кружиться голова сначала большие куски темнорозового с

белыми прожилками и прослойками мяса а затем черствую слегка размоченную в воде булку причем поначалу крутить ручку было не так уже легко иногда даже приходилось браться за нее обеими руками и лишь когда добавлялась булка и выползавшие из мясорубочных отверстий красные рассыпчатые нитки начинали постепенно светлеть делаясь под конец почти совсем белыми крутить становилось все легче

если мясо было хорошее то есть являлось частью одного из двух коровьих краев — толстого или тонкого — мы делали из него *жаркое* используя для этого специальную продолговатую чугунную посудину которую мы называли неизвестно почему *латкой* вероятно проследившая ее отдаленное родство с рыцарскими латами а поваренная книга — *гусятницей* причем готовить в ней назвалось тушить а не жарить хотя получавшееся в результате блюдо и называлось *жаркое*

иногда готовя вместе с бабушкой а потом когда она заболела с дедушкой мы решали сделать не простое *жаркое* а *кисло-сладкое* у которого соус был более темный то есть не светло-коричневый как в обычном а почти черный и заправлялся некоторыми сладкими и кислыми ингредиентами которые мы с бабушкой знали хорошо а мы с дедушкой — плохо так что со временем у нас стало получалось все более сладко и кисло одновременно то есть нам никак не удавалось окончательно смешать и уравновесить эти два вкуса но мы все равно любили кисло-сладкое и в таком неокончательном виде и ели его с булкой *халой* принесенной из булочной на углу толмачева и невского или точнее говоря невского и толмачева где она назвалась *плетенка с маком* маякая ее в соус а потом досуха вытирая куском булки тарелку что в домашней обстановке не запрещалось

чего мы почти никогда не готовили дома так это *котлеты по-киевски* — свернутые в трубочку кусочки кури закрытые по краям чтобы изнутри не вытекло растопленное масло а снаружи покрытые тестом и поджаренные в сухарях — и не потому что это было вовсе невозможно а скорее чтобы оставалось хоть что-то за чем обязательно стоило пойти в ресторан хотя бы в *метрополь* потому что не *салат же столичный* мог привлечь нас туда и не какой-нибудь *бифштекс с луком по-деревенски* при виде которого заранее начинало

ломить скулы

просто *жареное мясо* мы разумеется ели тоже особенно когда через знакомых мясников или знакомых мясников знакомых нам доставалась дефицитная *вырезка* однако жаря ее ломтиками на сковороде мы сознавали некоторую неполноту происходящего и если бы в один прекрасный день перед нами положили одновременно *шницель бифштекс ромштекс антрекот лангет эскалоп и отбивную котлету* и предложили определить что есть что то мы пожалуй бы затруднились поскольку наш опыт более способствовал классификации по таким признакам как *с косточкой или без косточки рубленый натуральный с картофельным пюре с макаронами или без макарон*

мы вообще исходили из неосознанного убеждения что чем больше возишься с каким-нибудь едой тем она лучше поэтому не считаясь со временем мы лепили *пельмени с мясом* и *вареники с картошкой* сворачивали продолговатыми конвертами *блинчики* и квадратными — *голубцы* фаршировали перцы и помидоры мясом и рисом нащиговывали кур фаршировали рыб и время от времени варили *бефстроганов*

что касается рыбы то какое-то непонятно на чем основанное предубеждение с которым мы относились к морской рыбе мешало нам с необходимым упорством заниматься ее добычей то есть выстраиваться в очередь или заводить знакомства в рыбороторговых кругах а если уж такие знакомства заводилось то они использовались для каких-нибудь более деликатесных целей так что морскую рыбу во всех ее *свежемороженных* разновидностях мы готовили редко а если и готовили то как бы вопреки ее происхождению то есть как обычную речную рыбу например судака — в тесте или профессионально выражаясь *в кляфе*

свежую рыбу нам довольно часто приносил домой рыбак по имени вая состоявший в какой-то рыболовецкой артели и появлявшийся примерно раз в месяц — то ли в эти дни бывал особенно удачный улов то ли наступала его очередь продавать артельную добычу *налево* — с большим пахнущим рыбой рюкзаком вызывая холодную веселую суету вокруг слишком тесной для него прихожей где он с

помощью весов «безмен» взвешивал больших с длинной головой судаков из которых делалось уже упомянутое блюдо *судак-орли* более коротких и широких лещей которых мы фаршировали или просто жарили цenia за вкус но не одобряя за излишнюю костистость реже мелких но весьма ценившихся корюшек и более крупных но менее ценных ряпушек а иногда серебристых с синеватым металлическим отливом миног которых мы мариновали а потом консервировали или как это называлось закатывали в литровых стеклянных банках специальным устройством называвшимся *машинка*

если не считать когда-то очень давно ходившей к нам еще в квартиру на невском финки-молочницы в черной блестящей кротовой шубе то кроме этого рыбака больше никто не приносил нам провизию на дом так что все остальное нам приходилось покупать самим мы ходили на *кузнечный сытный и торжковский* за молодой картошкой и пупырчатыми эстонскими огурцами за яблоками *золотой фанет* и грушами *бефа* мы отправлялись воскресным утром в молокосоюз на школьной улице купить сметаны в запотевшую изнутри стеклянную банку с полиэтиленовой крышкой диетических яиц и творожной массы с изюмом мы спускались в помещавшийся в нашем доме гастроном за уже не молодой картошкой приезжавшей по скрипучему транспортеру в подвешенные на сложных рычагах весы а потом грохоча скатывавшейся по железному желобу в подставленную нами снизу сетку летом на даче мы ездили повесив на руль бренчащий молочный бидон в *продмаг* с тремя толстыми белыми колоннами в покосившемся желтом портике а зимой долго не могли выбрать куда идти за постным маслом и мукой налево в бакалею на смиронова или направо в нее же на сестрорецкую время от времени мы садились в машину волга или жигули и ехали по забитому грузовиками проспекту обуховской обороны в *стол заказов* где по распоряжению одного влиятельного лица получали *сгущенное молоко без сахара и тушенку* и привозили из нарвы могущие быть взбитыми сливки мы спускались в *низок* и *сыры* и забегали за *куриными кнелями* в *малыш* и только в елисеевский заходили просто так — вдохнуть распространяемый театром комедии запах опилок выпить омытый в мраморном фонтанчике стакан грушевого сока и послушать как про-

давщицы кричат застекленным в центре зала кас-сиршам *чего больше не выбивать* а нам и не нужно было ничего выбивать потому что первое и второе уже было а на третье

3.

был компот

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬМАНАХОВ «КАМЕРА ХРАНЕНИЯ», ВЫПУСКИ СО ВТОРОГО ПО ШЕСТОЙ

СТИХИ

Сергей ВОЛЬФ, стихи	II с. 95
стихи	III с. 8
стихи	IV с. 68
стихи	V с. 11
Из цикла «Мотивы Терву», стихи	VI с. 33
Лев Дановский, стихи	VI с. 18
Гали-Дана ЗИНГЕР, стихи	IV с. 77
Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ, «Новые стихи»	II с. 7
«Восьмистишия»	III с. 25
«Из новых стихов»	IV с. 60
Дмитрий ЗАКС, стихи	II с. 52
стихи	III с. 68
стихи	V с. 36
Светлана КЕКОВА, стихи	VI с. 41
Дмитрий КОЧУРОВ, стихи	II с. 135
Ольга МАРТЫНОВА, стихи	II с. 201
стихи	III с. 19
«Сумасшедший кузнечик», стихи	IV с. 120
стихи	V с. 22
стихи	VI с. 9
Евгений МЯКИШЕВ, стихи	III с. 131
стихи	IV с. 130
Александр ОБРАЗЦОВ, стихи	III с. 129
Олег РОГОВ, стихи	V с. 32
стихи	VI с. 22
Алексей ЦВЕТКОВ, «Два стихотворения и перевод»	III с. 74
Елена ШВАРЦ, стихи	II с. 137
«Рождественские кровотопки», поэма	III с. 137
«Гостиница Мондэхел», стихотворение	IV с. 155

По нашей оплошности имя и публикации В. Шубинского были пропущены в «Содержании альманаха «Камера хранения», напечатанном в предыдущем выпуске. Мы приносим В. Шубинскому наши извинения. *Редакция*

Валерий Шубинский, стихи	II	с. 60
стихи	III	с. 59
стихи	IV	с. 63
стихи	V	с. 30
стихи	VI	с. 38

Олег ЮРЬЕВ, «Записка на погоне и другие стихотворения»	II	с. 147
«Стихи и хоры»	IV	с. 9
стихи	V	с. 17
стихи	VI	с. 27

ДРАМАТУРГИЯ

Михаил УГАРОВ, «Русский Инвалидъ» за 18 июля...»	IV	с. 84
--	----	-------

ПРОЗА

Нина ВОЛКОВА, «Маша и медведь»	IV	с. 20
Сергей ВОЛЬФ, три рассказа	VI	с. 58
Леонид ГИРШОВИЧ, «Рождество», рассказ	II	с. 165
Владимир ГУБИН, «Бездорожие до сентября»	III	с. 28
из цикла «Клубок аномальных метафор»	IV	с. 133
«Илларион», глава из романа «Илларион и Карлик»	V	с. 43
Игорь ПОМЕРАНЦЕВ, рассказы	II	с. 69
Нина САДУР, два рассказа	VI	с. 47
Асар ЭППЕЛЬ, «Сладкий воздух», рассказ	V	с. 106
Олег ЮРЬЕВ, «Прогулки при покой луне», рассказы	III	с. 79
«Игра в скорлупку», рассказ	V	с. 70
Сергей ЮРЬЕНЕН, рассказы	II	с. 38

ПЕРЕВОДЫ

Том ГАНН, стихи (пер. с англ. О.Мартыновой, О.Юрьева, Д.Закса, С.Степанова)	II	с. 218
Макс ЖАКОБ, стихи (пер. с фр. Аллы Смирновой)	II	с. 226

Макс ЖАКОБ, стихи (пер. с фр. Аллы Смирновой)	V с. 91
ПОЭЗИЯ НЕМЕЦКОГО ЭКСПРЕССИОНИЗМА. (Георг Тракль, Георг Гейм, Макс Герман-Нейссе, Вильгельм Клемм, Альфред Лихтенштейн, пер. с нем И.Большева, А.Прокопьева, Б.Скуратова)	III с. 145
ИЗ АМЕРИКАНСКИХ ПОЭТОВ (Уоллес Стивенс, Роберт Фрост, Харт Крейн, Роберт Пенн Уоррен, Т.С. Элиот, Эзра Паунд, пер. с англ. Алексея Цветкова)	IV с. 160
Эльке ЭРБ (перевод с немецкого Олега Юрьева и Ольги Мартыновой при участии Сергея Гладких)	VI с. 69

XXX ЛЕТ

Леонид АРОНЗОН, «Из опубликованных стихов»	V с. 112
Венедикт ЕРОФЕЕВ, «Из записных книжек», публикация С. Гладких	VI с. 77
Олег ГРИГОРЬЕВ, стихи	III с. 157
«Из неопубликованных стихов»	V с. 109
С.В. ПЕТРОВ, «Поток Персеид» стихи, публикация Н. Гучинской	IV с. 177

БОРИС ПОНИЗОВСКИЙ

Борис ПОНИЗОВСКИЙ, «...О постмодернистских навыках...», эссе, публикация Г. Викулиной	V с. 101
--	----------

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

А. РИВИН, «Вот придет война большая», стихотворение	VI с. 95
--	----------

ОЧЕРКИ ЗАТОНУВШЕГО МИРА

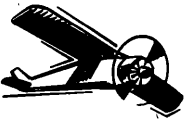
Вячеслав БЕЛКОВ, «Финикийский хулахуп», «И пр.»	V с. 129 VI с. 112
--	-----------------------

Дмитрий ЗАКС, «Еще раз к вопросу о фантиках»	IV с. 196
« первое второе и третье»	VI с. 121
Георгий Владимов, «Долог путь до Типперэри»	VI с. 101
Борис ХАЗАНОВ, «Язык»	III с. 178
Алексей ЦВЕТКОВ, «Сумма прописью или ненужное зачеркнуть»	V с. 117
Сергей ЮРЬЕНЕН, «Милая мама»	IV с. 190
Асар ЭППЕЛЬ, «Худо тут»	III с. 187

ЭССЕ

Борис ХАЗАНОВ, «Мост над эпохой провала»	II с. 235
--	-----------

Reisebüro Belenkij, Wladimir, 326430, Kazakhstan



Reisebüro Belenkij

Ваш надёжный партнёр

Особо льготные тарифы
в Казахстан, Россию, страны СНГ
Визы в страны СНГ



ОБСЛУЖИВАЕМ
ДЕШЕВО

Путешествия и
отдых на лучших
курортах мира

069/94 33 80 15

КНИГИ АССОЦИАЦИИ “КАМЕРА ХРАНЕНИЯ”

Камера хранения. Четыре книги стихов. М., 1989, 208 стр.

Поэтические книги:

Олег Юрьев. Стихи о небесном наборе.

Ольга Мартынова. Поступь январских садов.

Дмитрий Закс. Прекрасных деревьев союз.

Валерий Шубинский. Балтийский сон.

Камера хранения. Выпуск второй. Спб., 1991, 256 стр.

Литературный альманах.

Камера хранения. Выпуск третий. Спб., 1993, 222 стр.

Литературный альманах.

***Камера хранения. Выпуск четвертый.** Спб., 1994, 208 стр.

Литературный альманах.

***Камера хранения. Выпуск пятый.** Спб., 1996, 144 стр.

Литературный альманах.

***Камера хранения. Выпуск шестой.** Спб., 1997, 140 стр.

Литературный альманах.

Олег Юрьев. Прогулки при полной луне .

СПб., 1993, 144 стр. ПРОЗА.

Олег Григорьев. Двустипшия, четверостишия и многостипшия.

Спб., 1993, 124 стр. "XXX ЛЕТ".

Ольга Мартынова. Сумасшедший кузнецик.

Спб., 1993, 86 стр. СТИХИ.

Сергей Вольф. Маленькие боги.

Спб., 1993, 85 стр. СТИХИ.

Дмитрий Закс. Agia d'acquaio и другие стихотворения.

Спб., 1994, 102 стр. СТИХИ.

Леонид Аронзон. Избранное.

Спб., 1994, 102 стр. "XXX ЛЕТ".

Владимир Губин. Илларион и Карлик. Повесть о том, что...

СПб., 1996, 128 стр. ПРОЗА.



*Издания, помеченные *, за пределами бывшего СССР — только через книжоторговую фирму Kibon & Sagner (Мюнхен).*

Остальные — также через издательство.



Книжный магазин
Радуга

предлагает:

- русскую и переводную литературу на русском языке;
- книги русских писателей на немецком языке;
- словари и учебники; детскую литературу;
- CD и аудиокассеты, видеофильмы;
- принимает подписку на газеты и журналы

Адрес: Buchhandlung Raduga
Friedrichstraße 176-179,
10117 Berlin
Телефон: (030) 20 30 23 21
Факс: (030) 20 30 23 17

Hotel

"Ritterhof"

Restaurant

"Rasputin's Brotstulle"

Гостиница и ресторан в центре
Франкфурта-на-Майне.

15 комфортабельных номеров
со всеми удобствами, минибаром,
кабельным ТВ, телефоном.

В стоимость номера входит завтрак —
шведский стол.

В ресторане широкий выбор русской и
европейской кухни, играет оркестр, танцуют.

Гостиница «**Ritterhof**»
Große Rittergasse 79

Ресторан «**Rasputin's Brotstulle**»
Kleine Rittergasse 2

60594 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 61 01 71 или (069) 61 01 23-24

Telefax: (069) 61 01 72

КУБОН И ЗАГНЕР

МАГАЗИН РУССКОЙ КНИГИ (МЮНХЕН)

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И НАУЧНАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ИЗ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ**

КНИГИ

по литературоведению и языкознанию

по истории Восточной Европы

по общегуманитарным дисциплинам

художественная литература

справки о новых изданиях

широкий выбор книг на складе

антиквариат

ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ

подписка издания прошлых лет

газетный и журнальный антиквариат

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОТТО ЗАГНЕР»

VERLAG OTTO SAGNER

научные труды

по славистике

по истории культуры

Восточной и Юго-Восточной Европы

Kubon & Sagner

BUCH EXPORT - IMPORT GmbH

Heßstrasse 39/41

80328 MÜNCHEN, BRD

telefon: (089) 54 218-0

fax: (089) 54 218-218

В Вашу записную книжку

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

В ГЕРМАНИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

0190 / 87 22 50

- * расписание авиарейсов и автобусов
 - * экскурсии по Европе
 - * адвокаты и врачи
 - * адреса и телефоны
 - * перевод документов
- * партнеры для бизнеса и жизни
 - * посылки и переводы в СНГ
 - * производители товаров
 - * русские магазины
- * советы для жизни и многое другое

с любого телефона в Германии

0190 / 87 22 50